

БОР. ПИЛЬНЯК

ПОВЕСТИ  
О ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ

Samuel J.  
1842



БОР. ПИЛЬНЯК

ПОВЕСТИ  
О ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ

Марка Изд-ва работы худ. Ю. Анненкова.—Книга набрана наборщиками М. А. Каштановой, Н. В. Сергеевой и Е. Ф. Розановой.—Сверстана наборщиком В. П. Любимовым под руководством инструктора М. П. Вялых.—Корректирована Д. Штейнбоком.—Напечатана коллективом печатников под руководством инструкторов В. П. и В. В. Власовых.—Сброшюрована коллективом брошюровщиков под руководством инструктора А. Е. Дубова.—Издание выпущено под общим наблюдением Д. К. Богомилского в 39-й типографии „Мосполиграф“ в количестве 5.000 экз.

Главлит № 9428. Москва.

„КРУГ“  
МОСКВА—ПЕТЕРБУРГ  
1923

Право перевода и перепечатки  
закреплено за издательством.

По всем делам, связанным с на-  
званным правом, следует обра-  
щаться к Издательству Артели  
Писателей „Круг“, Москва,  
Леонтьевский пер., 23.

ВОЛКИ

---

В тысяча девятьсот семнадцатом году, в декабре, когда не рассеялся еще дым октября, когда дым только густел, чтоб взорваться потом осьнадцатым годом — когда первые эшелоны пошли с мешечниками, развозя бегущую с нарочей армию, в ураганном смерче матершины, — —

— — на одной станции полходил к вагону мужичок, говорил таинственно:

— Товарищи, — спиртику не надоть ли? — Спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра, —

на другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко:

— Браток, сахару надо? — Графской завод мы делили; по пять пудов на душу, —

На третьей станции делили на душу — свечной завод — степь, ночь, декабрь — —

— в городах на заводах, в столицах ковалась тогда романтика пролетарской революции в мир, а над селами и всяями,

над Россией шел пугачевский бунт, враждебный городам. Тогда поднимался занавес русских трагедий, увертюра октября отгремела пушками по Кремлю. Тогда надо было знать секрет, чтоб влезть в поезд — в сплошную теплушку: надо было шайкой в пятнадцать человек лезть с кулачным боем в первую попавшуюся теплушку, через головы, спины, шеи, ноги, в невероятной матершине и в драке на смерть. — И вот, была холодная декабрьская ночь. Поезд шел в степь. Каждый, кто ехал за хлебом, ехал тогда в первый раз, — поезд шел в степь, на диких степных станциях растеривая тех, кто, не желая умирать с голоду, брал быка за рога — просто вез себе хлеба. Теплушки были набиты человеческим мясом до крыш, это мясо было зловонно и холодно, оно зловонно молчало, когда шумел поезд, и оно рычало матершиной, когда поезд стоял: оно ехало из городов. И ночью поезд выкинул на дикую станцию полсотни людей. Луна уже сошла с неба, ночь помутнела, была черна, должно быть теплело перед снегом, на востоке едва-едва зеленело. За станцией был поселок, у станционной конюшни стояли возы, лошади мирно жевали, на возах валялись люди. Скоро узналось, что поселок переполнен людьми, — поселок не спал, то тут, то там вспыхивали огоньки спичек и папирос, но было очень тихо, потому что все шептались. — Приехав-

шие — одни решали итти в трактир попить чаю и лечь часок поспать, другие — сейчас же итти по селам за хлебом: узнали, что ближайшее село в трех верстах. Несколько человек пошло к околице, —

— и когда они подошли к последней избе, где метелями были надуты сугробы и откуда открывалось черное пустое поле, — их остановила старуха.

— В Разгильдяево идете? — спросила она.

— Туда, а — что?

— Не ходите. Меня тута Совет приставил — упреждать. Волки очень развелись. На людей бросаются. Вчера ночью московского задрали, за мукой приезжал. А нынче с вечеру — корову задрали. Погнали корову к колодцу поить, — как отбилась, никто не видел, — только слышат, ревет корова, как свинья, за задами, — побежали мужики, видят — шагов сорок — корова, а вокруг ней семь волков, — один волк тянет к себе корову за хвост, потом бросил сразу, корова упала, второй волк тогда корову за шею. — Когда подбежали мужики, полбока волки уже съели. — Не ходите.

Восток чуть бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приивший романтику городской, машинной, рабочей революции, — и эта весть о волках, это холодное пустое поле впереди навсегда остались у него —

одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.

С тех пор прошло пять лет.

И новый пришел декабрь — великих российских распутий.

## Глава первая.

Монастырь лежал в лесу, у соснового бора, на берегу озера, — на болотах, на торфяниках, в ольшаниках, в лесах — под немудрым нашим русским небом. Монастырь был белостенным. По осеням, когда умирали киноварью осины, а воздух, как стекло, — цвели кругом на бугорках татарские серьги. Неподалеку, в семи верстах, шел Владимирский тракт — старая окаянная Володимирка, по которой гоняли столетьем в Сибирь арестантов. И есть легенда о возникновении монастыря. Монастырь возник при царе Алексее Тишайшем. Смута уже отходила, и засел здесь на острове среди озера разбойник атаман — Бюрлюк, вора Тушинского военачальник, грабил, с божьей помощью, Володимирку: знал дороги, тропинки лесные, вешками да нарезями путины метил, — заманит, засвищет. И на Владимирском тракте однажды, кроме купцов, изловил Бюрлюк двух афонских монахов, с афонской иконой. Монахов этих убили, перед смертью монахи молились — не о себе, но о погибшей душе Бюрлюка, о спасении его перед господом, — о них

же скажут богу дела их. Монахов этих убили, но икона их осталась, и вскоре потом Бюрлюк перелил пушки на колокола, в месте разбойничьем стал монастырь. Легенд таких много на Руси, где разбойник и бог — рядом.

Но монастырь стал почему-то женским, хоть и сохранил имя Бюрлюка — Бюрлюковская женская обитель. И идет декабрь, в ночах, в снегах, в метелях. В новую российскую Метель — Бюрлюкова обитель погибла, забыта: за монастырскими стенами военное кладбище — склад авио-слома, ненужный уже и революции, при нем шесть красноармейцев, комиссар и военспец, — в грязной гостинице — капусто-квасильный, для армии, завод, на зиму заброшенный. Монашки живут на скотном дворе, без церкви, роются в поле по веснам, зимами что-то ткут и доят советских коров. И в малом доме отмирает, — умирают остатки коммуны анархистов. И декабрь.

— „В революцию русскую — в белую метель — и не белую, собственно, а серую, как солдатская шинель, — вмешалась, вплелась черная рука рабочего — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, скроенных из стали, как мышцы, — эта рука, как машина, — взяла Россию и метелицу российскую под микитки: никто в России не понял романтики этой руки, как орлиная лапа, — никто не

понял, что она должна была быть враждебной — врагом на смерть — церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням — не только русским, но всего мира; что это она должна была — во имя романтики, как машина, — нормализовать, механизировать, ровнять, учитывать, как учтена, нормализована, механизована машина, сменившая солнце электричеством, что это она в каждый дом внесла романтику быта заводской мастерской и рабочей казармы, с их полумраком, с их пылью, с их теснотой, с их расчетами и сором бумажным в углу на полу и на столе под селедкой. Это — рабочий. Тогда казалось, что над Россией из метели восстала — бескровная черная машина, рычаг которой в московском Кремле, Россия была лишь желтой картой, великой европейско-российской равнины, бескровной картой — в карточках, картах, плакатах, словах, в заградительных отрядах, в тысяче мандатов на выезд, в нормализационной карточке на табак, в человеческих лицах, пожелтевших, как табачные карточки“. — —

И декабрь. И монастырь.

„Некогда Россия — столетьями — прожеванная аржаным — шла культурой монастырей, от монастырей, монастырями, где разбойник и бог рядом. Так создавались Владимирская, Суздальская, Московская Руси. На столетья — в веках — застряли иконостасы, ризы, рясы, монастыри, погосты, оби-



тели, пустыни, — дьякона, попы, архиепископы, монахи, монахини, старцы. В монастырях, в городах за спасами, в церквах, за папертями, в притворах, в алтарях — иконами, паникадилами, антиминсами, ковриками, по которым нельзя ходить, невидимо — ютился дух великого бога, правившего человечими душами две тысячи лет, — рождением, моралью, зачатием и смертью, и тем, что будет после смерти. В церквах пахло ладаном, тем, которым пахнет на улицах, когда несут покойников. При нем, при боге, были служки, которые носили костюмы ассирийцев: они мало, что знали, они богослужили, но они чувствовали, что у бога нет крови, хоть и разводят кровь вином, и что бог уходит в вещь в себе, — они же протирали лики икон и ощущали себя — мастерами у бога, у них было много свободного времени. — Человечество, жившее в тридцатые годы двадцатого столетия, было свидетелем величайшего события — того, как умирала христианская религия. — Но — исторический факт — в шестнадцатом веке в России, в семнадцатом — монастыри были рассадниками и государственности русской, и культуры. И другой исторический факт — в революцию русскую тысяча девятьсот семнадцатого — двадцать второго годов — лучшими самогонщиками в России было духовенство“.

В Бюрюлюковской же девичьей обители не оста-

лось даже священника: стены белые, — белые церкви, которые звонят только — сиротливо — ветром в метели, — черные дома, как кустарно-фабричные бумагопрядильные корпуса, да лес, да летом — озеро с карасями. Комиссар арт-кладбища — Косарев, военспец и шесть красноармейцев приладились жить так, чтобы спать по четырнадцать часов в сутки.

И декабрь. Есть такой мороз, который одевает деревья, дома, землю холодным, мгlistым инеем. С сумерек поднимается луна и зажигает иней миллиардами бриллиантов. Небо атласно и многозвездно, и кругом неподвижность и тишина, тишина гробовая, от которой становится страшно и звенит в ушах. А мороз кует и сковывает все. — Под монастырской стеной идет проселок, он сворачивает к монастырским воротам, идет мимо скотного двора, через гостинные стройки, начало и конец его затеряны в лесу. Тени от монастырских стен и строек, тени от деревьев четки, точно вырезаны ножницами. В малом гостинном доме из нижнего этажа, из угольных окон идет керосиновый свет. Скрипят сани, едут двое в розвальнях — проезжают на скотный двор, слышен скрип нескольких шагов, и мирный керосиновый свет возникает в другом конце малого гостинного дома, во втором этаже. И опять тишина. Гостинный дом построен, как строятся казармы и хорошие конские конюшни:

продолговатой коробкой, с коридором посреди, с двумя выходами в концах коридора и со стойлами номеров направо и налево.

В нижнем этаже, в углу, в комнате горит железная печка, сотворенная здесь же на арт-кладбище из военно-технического слова; под потолком висит лампа; на диване с книгой лежит анархист Андрей Волкович, у печки возится Анна. Потом приходит из города — за восемь верст — со службы Семен Иванович, он греется у печки. В доме холодно.

— Сегодня двадцать четвертое декабря по новому стилю, — говорит Андрей. — Сегодня во всем мире, в Европе, в Европе, в Австралии, в обеих Америках — рождественский сочельник, во всем мире, кроме России и Азии.

Молчат.

— В городе афиши расклеены, — говорит Семен Иванович, — приезжает на праздники зверинец, будут показывать попугаев, шакалов, обезьян, медведей, волков, а также всемирный оптический обман — женщину-паука. — Вы, Андрей, не ходили на завод?

— Нет, пойду завтра.

— Да, ступайте. Надо что-нибудь делать.

Анна подает на стол горячую картошку. Семен Иванович садится есть. Андрей натягивает на плечи тулуп и идет к двери.

— Вы куда?

— Пойду пройдусь.

В коридоре гостиного дома мрак и холод, здесь не топят. Над деревьями стоит луна. Тишина гробовая и неподвижность над монастырем. Тени — точно их вырезали ножницами, рядом с Андреем идет карапуз его тени. На скотном дворе в кухне у монахинь вспыхнул огонек, и вот перебежала из тени в тень на дворе — бесшумно, — монахиня, — ворота во двор открыты.

Продналоговый инспектор Герц, бывший офицер, и его попутчик учитель Громов, что приехали заночевать в обитель, во втором этаже гостиного дома, глоткамиогревают комнату. Монашенка растапливает печурку. Они, Герц и Громов, бодры, стаскивают тулупы, распоясывают полушубки. Луна лезет в окна. Монашенка зажигает лампу.

— Ффу, холодно! Хо, фа! — самоваришко нам, да попогонки бы, — говорит Герц. — Ха, фа! И печку теплее.

— В одной горнице спать будете, или как? — спрашивает монашенка, улыбается, — она стоит

прямо, против огня, черное монашье платье обтянуло грудь, на свету зубы, глаза, лоб, — и Герцц видит, что лицо монашенки, молодой еще, красиво и хищно, — она смотрит на Герца покойно, еще больше хочет выпрямиться, откинув спину и голову назад, белые зубы светят из-за губ.

И Герцц говорит:

— Как ты прикажешь, матушка, — в двух. Попогонки достанешь? А поужинаем вместе. Тебя как зовут?

— Сестра Ольга. А ты, батюшка, ведь офицер Герцц? — попогонки достану, посылаю к попу на село. Я пойду, самовар поставлю. За печуркой посмотрите, чтобы теплее. Пришлю сестру Анфиса. Только — чтоб потише, — чтоб никто не слышал.

Герцц греется у печки, — ффу, ха, фа, — монастырский гостиный номер невелик, у изразцовой печки — печурка, за печуркой деревянная кровать, постель под одеялом, шитым из лоскутьев, на столе под лампой — белая скатертка. Громов — в полушубке, у стола, голову в шапке — пока не согреется комната — опер ладонью.

— И придут? — спрашивает Громов.

— Придут, — отвечает Герцц.

Приходит другая монашенка, сестра Анфиса, белая и плотнотелая, — ни Герцц, ни Громов не замечают, что на ней черное, галочье платье, — и

Герцц, и Громов сразу представляют, что тело ее — не то, чтоб было полно, но деревянно, крепко сшито, как у калужских копорщиц. Сестра Анфиса смеется добродушно и чуть смущенно.

— Печурку надо в другой горнице растапливать, кто со мной? — спрашивает она и фыркает.

— Идите вы, Громов, — говорит нехотя Герцц.

Через полчаса в горнице тепло, парно, со стен и окон течет сырость, окна плотно занавешены, на столе, под лампой, шипит самовар, на тарелках разложены — яйца, масло, соль, черный хлеб. Герцц вынул из сумки баночку с сахаром, на окне у стола стоят две бутылки самогона, у стола — две монашенки и двое мужчин, самогон разливает сестра Ольга, чай — сестра Анфиса. Лампа — чуть коптит, или так кажется от пара. Печурка, железная, на четырех ножках — полыхает, жужжит, — вот-вот соскочит с места и завертится юлой по полу от жара. И сестра Ольга говорит строго:

— Скорей ужинайте, а то нам половина двенадцатого на молитву, часы стоять.

Но до полночи еще долго. — И через час — прощаются: сестра Анфиса и Громов уходят в соседнюю горницу. Сестра Ольга стоит среди комнаты, Герцц — у стола, опершись на него — спиной к нему — руками. Ольга прислушивается к тишине дома, подходит к печурке, заглядывает в нее, под-

ходит к кровати, откидывает одеяло, медленно идет к столу, протягивает руку привернуть лампу, — и, приворачивая, другой рукой охватывает шею Герца, загораясь, сгорая, — губами, зубами вливает в себя губы Герца — —

У полночи — мужчины спят, обессиленные. Сестра Ольга встает с постели, привернутая лампа начала петь, печь потухла, Ольга в белой рубашке, надевает чулки, башмаки с ушками, рясу, шубейку, черна, как галка. Она раздувает огонь в печурке, припускает свету в лампе. Она идет к Анфисе, будит бесшумно ее — —

Над землей — мороз. Луна ушла, но звезды — горят, горят, и небо — ледяная твердая твердь, по которой можно было бы кататься на коньках, если бы была возможность залезть туда. За навесом, на скотном сарае, за калиточкой для навоза на огороды, к лесу, — стоит баня. Тут темно. По двору, из углов идут черные тени монахинь — через навозную калиточку, в полночь, к бане. В бане, где был полوک, весь угол в образах, мигают — не светят, не освещают лампы, собирается десятка полтора черных женщин, согбенных, и молодых, и старых. И старуха запекает — старческим дребезгом вместо голоса — некий тропарь, который человеку со стороны показался бы диким, страшным и нелепым. И сестра Ольга подхватывает

истерически мотив, и падает на пол, стучаясь лбом по доскам пола. В бане полумрак. В бане жарко натоплено. В бане черные женщины, и черные тени от черных женщин — овцами — бегают по стенам и потолку. В бане замурованы окна. — И мотивы тропарей все страшнее, все страстнее, все жутче. — Так идут часы. — Женщины поют истерически, в бане — —

— А глубоко за полночь — за третьими петухами — ночь темна, черна, недвижна — звезды мутнеют — сестра Ольга в ночь идет в гостинный дом, во второй этаж. Герц спит. Ольга бросает на пол шубейку, в черной рясе наклоняется к лицу Герца, долго смотрит в лицо, — она, изогнувшись на кровати, похожа на черную кошку — или на ведьму? — которая хочет выпить всю силу и всю кровь. Герц не знает —

— странной истории сестры Ольги. — Где-то на Ветлуге, в старообрядческих скитах, в фанатизме и анафемствуя умирают мать и тетка Ольги, — и тетка игуменствует. Но Ольга, из старообрядческой семьи иваново-вознесенских ткачей, окончила гимназию первой ученицей, примерной богомольщицей, была на первом курсе курсов Герье, на филологическом отделении. — В революцию, в Октябрь, в дни восстания она пошла в штаб белой гвардии и с

винтовкой в руках стояла за Кремль, — чтоб загореться и сгорать потом коммунистической партией, чтоб быть фанатиком, как монах, ненавидеть неистово и неистово любить, крикнуть в мир Интернационалом, возненавидеть старосветскую Русь, проклясть бога, в мир кинуть поэму машины, — теперь, вспоминая, вспоминает сестра Ольга, как тогда, в парт-школе, сорвав икону Николая угодника, неистово повесила она туда портрет Карла Маркса. Потом она была в Иваново-Вознесенске, и там многим казалось, что она сошла с ума, когда задумала, изобрела, неистово проводила в жизнь — систему социалистического делопроизводства, такого, где люди совсем вышелушивались и оставались одни номера. Она была девственница, она никогда не любила, ни девичьи, ни женски. Потом ее послали на фронт, редактировать газету, — там, при отступлении от Врангеля, в редакционных теплушках, она занеистовствовала, залюбила, засумасшедствовала любовью, у нее стал муж, убежавший затем к белым, — и через полгода после этого она, порвав с коммунистической партией, с революцией, была уже на послухе в Бюрюлюковской женской обители, в черном платье, как галка, — на молитве и в половой истерии. — Но тогда, в октябре, в Москве —

— Герц не знает. Герц просыпается от

удушья. Свет от чадающей лампы не велик, — и над Герцем склонилось лицо, глаза широко раскрыты, безумны, и бегом рядом из-за красных губ, блестя зубы. И Герцу вспоминается что-то смутное, уже очень далекое, сокрытое за метелями, за голодами, за скитаниями, — где-то там, в октябре, в Москве — — Сестра Ольга охватывает его шею, черная, в черном, — и припадает к нему — —

Луна ушла за лес, померкла красным углем, исчезли тени, — все стало, как тень, — потемнело небо и ярче звезды, — теперь совсем ясно, как лезть от звезды ко звезде. Лес почернел, поугрюмел. Анархист Андрей долго бродил по проселку, он слышал, как где-то вдаль в лесу провыл одиноко волк, — Андрей думал о России, о метелях, о волках. Монастырь — безмолвен, темен, мертв, — торчат к небу шатровые колокольни. — Спит, руки скрестив на груди, далеко откинув голову, выставив кадык, — Семен Иванович, бесшумно дышит. Легла уже Анна. — Андрей сидит у стола, над дневником, у лампы под абажуром из газеты. Встает с постели Анна, кладет руки на плечи Андрею, прислоняет к голове голову.

— Ложись, милый, спать. Не грусти. Ну, что же, что сегодня во всем мире Рождество?

— Я не грущу, Анна. У меня странные мысли. Если бы теперь был осьнадцатый год, я должно-

быть ушел бы в коммунистическую революцию. Слушай, весь мир на крови. В мире есть две стихии, я еще не оформил, как их назвать, и где их границы. Но вспомни — был мир, когда люди жили только от земли, пахали, пили и ели. Тогда миром правил бог, тогда богу строились соборы, монастыри, церкви. Реальность — земля, и романтика — метафизика — бог. Или нет, не так. Помнишь, в XVI веке, в Европе, в Англии и Франции, были изобретены — ткацкий станок и паровая машина, и они перестроили мир, они сделали Европу гегемоном мира, они породили протестантизм — в религии, они народили капитализм — в хозяйстве, они породили буржуазию и пролетариат: пролетарий и машина пришли в мир с новой моралью и романтикой. Но слушай дальше. Мир строил человеческий труд, мир — на крови, и потому — бескровна романтика: — Сейчас, какие бы ни были в мире революции, две трети человечества и человеческого труда прикреплены к земле, чтобы хлебопашествовать, чтобы нудно ковырять землю, чтобы прокормить остальную треть, — этот труд нищенский и убог — он дает только одну треть прибавочной ценности; но, кроме того, под картошкой, просом и рожью занята вся плодородная земля мира, ржаные поля — сиротливые, скучные поля, невеселые. Но вот пришел ученый, почти алхимик,

и он изобрел способ из неорганического мира — химическим путем — на фабричке делать углеводы, белки и жиры, картошку, мясо и масло; хлеб будут делать на фабрике, его будет делать пролетарий. Послушай, две трети человеческого труда освободятся от кабалы к земле, они пойдут в города, они пророчат вдоль и поперек землю, они высушат моря, они создадут новую мораль, новую эстетику. Это будет невероятная революция. Это создадут — гений-ученый и пролетарий. Но освободится еще и земля от аржаной кабалы, вся земля превратится в сад, куры, овцы, козы, свиньи и коровы — будут только в зверинцах. Человеческий освобожденный труд перестроит мир. Ты понимаешь, Анна? — В мире есть две стихии, — и это вторая: гений, труд и человек, — стихия, покоренная машиной, — машина и пролетарий, и — опять — человек. Ты понимаешь?

Анна молчит, прислонив щеку к щеке.

— Но тогда будут васильки? — спрашивает Анна.

— Да, будут.

— Но васильки растут во ржи, а рожь, ты говоришь, исчезнет? — Знаешь, монахини сегодня опять пели ночью. Я выходила на крыльцо и слышала, как вдалеке провыл волк, теперь идут волчьи свадьбы. А наверху опять кто-то приехал, опять блуд, там мать Ольга —

— Но ты заметила, — говорит Андрей, — в XVI веке, в XVII культура в России разносилась монастырями, — а в XIX и теперь ее разносят — заводы, заводы. Но машины, как и бог, бескровны, — что кровь машины? А монастыри, — что теперь монастыри? — и Андрей возбужденно встает от стола, разводя руками.

— Да, но тебе завтра надо идти на завод, Андрей, пора спать, — говорит Анна.

Ночь. Безмолвие. Кует и сковывает мороз. И видно с проселка от монастырских ворот, как гаснет внизу в гостином доме огонь. В лесу, за монастырем бежит волчья стая, гуськом, след в след, впереди вожак, — так стая избегала за ночь верст тридцать. Комиссар арт-кладбища Косарев, обалдевший от сна, выходит на монастырский двор, он слышит волчий вой, и этот вой Косареву —

— одиночество, тоска, сиротство, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни впережку с волками.

## Глава вторая.

Завод возник лет тридцать назад, когда строили железную дорогу: понадобились кузница и механическая мастерская — для сборки мостов, — эта кузница и выросла в стале-литейный, — машиностроительный. Вокруг завода, по большаку, разметался заводский поселок, домики, как скворешники, за палисадами, в черной копоти, в буром от копоти снеге, у театра в тополях — в овраг катались на ледяшках мальчишки, у поворота выстроились в ряд — в домах со скворешнями мезонинов — трактир, парикмахерская, клуб союза металлистов, кинематограф, сельский совет, — все было из дерева: так деревянная Россия подперла к железу и стали, к чугунному литью и к каменному заводскому забору. Красным кирпичем у переезда стала заводская контора, заводоуправление, завком, здесь стали коммунисты. На красном кирпиче конторы — в витрине:

„Берегись, товарищ, вора“.

„Бей разруху — получишь хлеб“.

„Дезертир труда — брат Врангеля“.

„Смотри, товарищ, за вором“.

И карандашем сбоку:

„Ванька Петушков сегодня запел песни“.

А там, за заводской стеной, за завкомом, —

— дым,

копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак, электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка, мартэны, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, — горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка, — из дерева, — черное домино, — при машине, под машиной, за машиной рабочий, — машина в масле, машина неумолима — здесь знаемо — в дыме, копоти и лязге, — ты оторван от солнца, от полей, от цветов, от ржаных утех и песен ржаных, ты не пойдешь вправо или влево, потому что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс, одна машина, где человек — лишь допуск, — машина в масле, как потен человек, — завод очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок, формовочной земли, —

— там, за заводской стеной, за завкомом, в турбинной, в рассвете, в безмолвии, в тишине, когда завод стоит, и сторожа лишь стучат сороками колотушек — человек, инженер — его никто не видит — поворачивает рычаг и: — (из каждого десятка новых рабочих — один — одного

тянет, манит, заманивает в себя маховик, в смерть, в небытие — маховик в жутком своем вращении, вращении — в допусках — в смерть), — его никто не видит, он поворачивает рычаг и:

завод дрожит и

живет, дымят трубы, визжит железо, по двору меж цехов мчат вагонетки, ползут сотне-тонные краны, пляшут аяксы. Его никто не видит, человека, повернувшего рычаг в турбинной, но завод — живет, дрожит и дышит копотью труб. — Идет рассвет, гудит гудок, и сотни черных людей идут к станкам, к печам, к горнам. — В стали-литейном, у мартэнов: все совершенно ясно; в стали-литейном полумрак; в стали-литейном — пыль; в стали-литейном горы стальных шкварков; уголь, камень, сталь; в стали-литейном пол — земля, и рабочие роются в земле, чтоб врыть в нее формы, куда польют жидкую сталь; сквозь крышу идет сюда кометой пыли луч солнца — и он случаен и ненужен здесь; — у мартэнов все совершенно ясно: в мартэнах расплавленная сталь, туда нельзя смотреть незащищенными глазами — когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных затмений, — и совершенно ясно, что там в печах; — в печи — в палящем жаре, в свете, на который нельзя смотреть, — там зажат кусочек солнца, и это солнце



лют в бадьи. — А в кузнечном цехе — чужому, пришедшему впервые, страшно, — тоже в полумраке — в горнах раскаляют сталь до-бела и потом куют ее в прессах, как тесто, и молотами бьют, чтоб сыпать гейзеры искр; в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют, — в горнах — в горны, где сталь и уголь, рвется воздух, чтоб раздуть и глотки горн харкают огнем, пылают, палят, жгут, — горны стоят в ряд, к ним склонились грузоподъемные краны, чтоб вырывать от огня для прессов белую — огненно-белую — сталь, — и горны похожи на самых главных подземных чертей, они дышат, задыхаются, палят огнем и воют, режут, барабанят, — кранами, прессами, молотами: здесь страшно непосвященному, — н-но у каждого горна висит объявление завкома:

„Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах“ — —

Рабочие — черны. Машина — в масле. Здесь — огонь, сталь, машина. Где-то в турбинной — повернут рычаг.

Домино — это черные, с числами, кости, это числа, где число кладут к числу, чтобы получить новые числа. В домино играют в тавернах, где полумрак керосиновой лампы под потолком. В домино играют, чтоб выиграть или проиграть. — Машина. — Когда сложат в сборном цехе все костяшки сталь-

ного домино, — костяшки, созданные по нормалям и допускам фрезерами и аяксами, — тогда возникает машина; но сама она — опять лишь костяшка нового стального, цементного и каменного домино, имя которому завод, которых так мало разбросано по России.

— Пусть мало, но на этом пути конца нет. Домино машин — бесконечно, чтоб заменить машину мира. —

„Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах“, —

— хоть и не видно того, кто повернул рычаг в турбинной, чтобы завод дрожал и жил. Это так же, как прежде, когда —

— прежнее человечество — тысячами лет — жило богом, которого звали по разному от Ра и Астарты; еще от Ассирии и Египта остались храмы, где в святом святых хранился бог, уходя в вещь в себе, и при боге, на божьих дворах жили служки: эти служки стирали с божьих лиц пыль и плесень. — —

Но Андрей Волкович не пошел на завод ни завтра, ни послезавтра, ни через пять дней. Просыпаясь утрами, он возился у печки, помогал Анне, читал книги. Кругом была тишина, лишь иногда звенели сосны вершинами, как морской прибой в

отдалении. Монастырь белыми стенами сросся со снегом. Изредка проходили прохожие, два раза приходили к монастырю божьи странники — по дороге от Каспия к Белому морю посмотреть, как погиб монастырь, разматывали портянки на сбитых ногах, говорили о великой порухе, прошедшей по Руси, слизнувшей с лица ее бога, монастыри и погосты. Один раз была метель: лес и земля выли, как ведьмы, должно быть, — тогда ветер звонил — звякал — колоколами на монастырской колокольне, и всюду мчал снег. Изредка — в морозе желтым светом, как сухие баранки, — светило солнце, — тогда свистели снегири.

Рождество пришло незаметно, незначуще, все той же картошкой. Красноармейцы ходили в село пить самогон и веселиться в трактире.

На четвертый день Рождества комиссар Косарев собрался съездить в город, сходить в кинематограф, побывать в зверинце, — Косарев пригласил с собой Анну. Андрей в этот день пошел на завод, наниматься.

В городе на базарной площади были карусели, играли гармонисты, толпились люди, мужики в тулупах, бабы в красных овчинах и зеленых юбках. Тут же на двух столбах была единственная — и вечная — афиша о зверинце:

Проездом в городе остановился

— ЗВЕРИНЕЦ. —

Разные дикие звери под управлением  
Васильямса.

А так же:

ВСЕМИРНЫЙ ОБТИЧЕСКИЙ

обман ЖЕНЬЩИНА-ПАУК. —

На афише были нарисованы — голова тигра, женщина-паук, медведь, стреляющий из пистолета, акробат. Афишу мочили многие дожди. У карусели выли гармошки и бил барабан, овчины толпились, лужа семечки и наслаждаясь, на конях, на каруселях ездили, задрав ноги, парни, девки плавали в лодках; в одном ларьке продавали оладьи, в другом — зеркала и свистульки. Площадь была велика, и шум от каруселей казался маленьким. Косарев поставил лошадь в трактире, направился в исполком, Анна его ждала, он пришел сумрачным, — в зверинец попали к сумеркам.

Зверинец поместился в доме гражданина Слезина, где когда-то был общественный клуб, выступали заезжие фокусники, бродячие актеры и местные

любители. — На лестнице горело электричество, были развешаны картины зверей, толпились мальчишки, — в дверях сидел хозяин зверинца Васильямс, в матросской рубашке, никому не доверял получить деньги, мальчишек бил по загривкам, но иногда прозевывал счастливец: лицо у него было доброе, с ним можно было торговаться о плате за вход. — Там, где раньше сидела публика, наблюдавшая за фокусниками, хлестнул по носам скипидарный запах зверей, звериного пота. Здесь было целое сооружение, учиненное заново: по стенам стояли клетки с попугаями, орущими неистово, — с безмолвными филинами, немигающими и такими, как чучелы, — с пингвинусом; серия ящиков занималась кроликами, очень похожими на тех, каких продают на базаре; в двух клетках сидели мартышки, в ящике, в сено прятались морские свинки; в клетке, разделенной на десяток отделений, чирикали — щеглята, синицы, зяблики, чайки, трясогузки, чижи; в круглой клетке сидел орел, совсем полинявший. Электричество светило неярко; там, где была сцена, был устроен тир: на стойке, обтянутой красным коленкором, расставлены были — чайный сервиз, самовар, гармошка, галстух, пенснэ, — каждый мог испробовать счастье, стреляя булавочкой в вертящийся диск. — Женщины-паука не было, — ее показывали через каждые полчаса на пять минут. Народу в

зверинце было немного. — В той комнате, где бывало фойэ, — были большие клетки; в одной лежал кривой медведь, — кривой, усталый, облезлый, в войлоке; в другой — металась два шакала; тигра, нарисованного на афише, не было; но в углу, в медной клетке, плохо освещенной — был волк; волк был невелик, но стар и убог; клетка была маленькая; волк бегал по клетке; волк изучил клетку, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, но как машина, — исчезая в тень клетки и возвращаясь в свет; потом он остановился, опустил голову, взглянул на людей понуро, устало, исподлобья — и тихо завыл, зевнул; — волк был беспомощен, страшный русский зверь. В зверинце было немного народу, и больше всего толпилось у клетки волка. Больше ничего не было в зверинце Васильямса.

И вот — о волке. Анна знала, — когда тает снег, после зимних вьюг и метелей (никто не докажет, что весны прекрасней метелей), из-под снега, в ручьях, в весне — возникают новые цветы, но вместе с ними — много на земле прошлогодних листьев. Если годы революции русской сравнить со снегами вьюг и метелей, — из-под них по Руси, по русским весям и селам небывалые размножились волки, побежали одиночками и стаями, драли и скот, и зверье, и людей, лазили по закутам, были

на поезда, разгоняли стада и ночные, страшили одиноких русских путников, возродили охоты облавами, сворами борзых, с поросенком, — что же новые цветы иль прошлогодние листья —? Волк страшен в полях, свиреп, хозяин лесов: Анне — волк — прекрасная романтика, русская, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина. Но — что же — прошлогодняя листва или новые цветы — этот Васильямс и его зверинец? Где и как он прожил метельные годы российские, как голодал, кем был национализован, — кто денационализировал его, отпустив, как шарманщиков, таскаться по селам и весям российским — прошлогодней листвой иль цветами —? И вот здесь, в клетке, ободранный, обобранный — волк, покоренная стихия: его братья бродят по лесам, воют, живут, чтоб убивать, родить, умирать, его братья свободны, и они — русские, ибо правят они над русскими полями, лесами, ночами, — а он, облезший, ободранный — маятником мается, след в след, движенье в движенье, здесь в клетке, — как он попал сюда, к Васильямсу, в компанию женщины-паука? — У волка здесь толпился народ, — здесь и у обезьян, должно быть, отыскивая созвучие.

Рядом с Анной, у волчьей клетки стоял комиссар Косарев, и он сказал:

— У, гадость. Смотрю на волка — и вся дикость

наша, русская т.-е., прет из него. Всех их мерзавцев в зверинцы надо.

Анна ответила:

— А я — я смотрю на него, и мне его жалко, мне сиротливо, товарищ. В волке вся романтика наша, вся революция, весь Разин. Мне жалко, что он заперт! Его надо выпустить, — на волю, — как осьнадцатый год.

— Ну, революцию я понимаю иначе. В осьнадцатом году как раз и понял, товарищ. К чертям всех Васильямсов с волками и т. д. —

Волк снова забегал по клетке. Прошли со звонком, прокричали, что сейчас покажут за особую плату женщину-паука. Красноармейцы, стрелявшие в тир, вынули из-под шинельных пол кошельки. Ни Анна, ни Косарев не пошли смотреть женщину-паука, — Косарев не желал, чтобы его надували. Вышли на мороз, на улицу. Уж совсем стемнело, — пошли в трактир выпить чаю, запрячь и ехать. На улицах было темно. Волк остался в помещении гражданина Слезина, в тусклом электрическом свете, в скипидарящем запахе звериного пота. — Карусели на площади перестали вертеться. — В трактире, на эстраде отплясывали — ряженые — хохол с хохлушкой, пели цыганские романсы. Косарев грустил, сердился на волка и на жизнь, выпил самогону.

За городом чуть-чуть мела поэмка.

Небо чернело. Вправо, вдалеке у железной дороги белым заревом светил завод. Лес принял шорохами и шумом вершин, — древний лес, сосны в два обхвата. Анна думала и ждала, что сейчас завоюют волки, выйдут на дорогу. — И правда далеко в лесу — на санях его не слышали — в это время провыл волк, лизнул снег и побежал по взгорку, чтоб бегать так всю ночь, избегать верст сорок, ибо волка кормят ноги. — Монастырь был безмолвен. Косарев с санями въехал в монастырские ворота. — Семен Иванович, в валенках и шарфе, трудился у печки, растапливал, хотел сварить картошки. Печка дымила. В комнате было холодно, и не было света, кроме полупрозрачного.

— Андрей не вернулся с вами? — спросил Семен Иванович.

— Нет, не вернулся. — Слушайте, Семен Иванович, я была в зверинце. Там есть волк. Осьнадцатый год не вернется, он прошел, навсегда. Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли. — Где теперь мой муж, инженер? Мужичья Россия загорелась лучиной, запелись старые песни, замелась метелица, закрипели обозы с солью, умирали города, заковыжились железные дороги. Осьнадцатый год не вернется, он ушел навсегда. Наши коммуны погибли, мы всех растеряли, мы живем на монастырском кладбище, и мы, анархисты, как волк в зверинце. —

Когда мы ехали, поднималась поземка. Будет метель. — —

Вошел, не постучавшись, комиссар Косарев. Он был уже в той степени опьянения, когда ему стало весело. Сел к столу. Сказал:

— Азияты. — Я сегодня у товарища был, в городе, у военного комиссара Липина. Мы с ним вместе на Сормовском заводе работали. — „Ты, — говорит, — азиат, на монастырском кладбище живешь, — сифилистик ты“, — говорит. Я спрашиваю его — почему я сифилистик? — „А помнишь, — говорит, — у твоего дяди на Сормовском, у токаря по металлу, нос гайкой оторвало?“ — А-а, — я ему отвечаю, — в таком случае помнишь на Сормовском был директор — сифилистик, — так всем трубай пришлось боб вспрыскивать, чтобы не провалились от сифилиса. — „Врешь!“ — говорит. — Не вру, — отвечаю. Смотрит обалдело. — „Врешь, — говорит, — я в прошлом году был, видел, как рабочие сидят около труб, греются, трубы стоят!“ — Потому, говорю, и стоят, что им впрыснули 600 и б, — обалдел парень!

Комиссар Косарев рассмеялся весело, помотал головой, встал и ушел.

На заводе —

— в стали-литейном, в мартэне — сталь и уголь, и они в мартэне, как кусок солнца —

---

стихия, на нее, как на солнце, нельзя смотреть простыми глазами, она бурлит и жжет.

В зверинце —

— в клетке за решеткой — волк, стихия лесов, и он в клетке, как машина, след в след, мышца в мышцу, движение в движение, на волка сиротливо смотреть.

Что такое — машина? И кто такой пролетарий? — У машины, как у бога, нет крови, — и машина, конечно, больше бога побеждает трудом мир. В Ассирии, в Вавилоне, в Египте — были божьи дворы, у них были службы, бог — в святом святых — уходил в вещь в себе, от них затерялись в веках звездочеты, волхвы, алхимики, астрологи, маги, масоны, — они запутали столетья, они запутались в столетьях, они умирают — они вели мир. Конечно — божий двор — не машина, и службы при боге — не рабочие. — Завод черен, завод в саже, завод дымит небу. Ты отрезан от мира забором, ты оторван от цветов, от полей, от песен, от пахаря. Ночью завод горит сотнями электрических светов. Но вот инженер повернул рычаг у турбины, и завод дрожит, дышит и живет: одно, одна машина, одна воля: конечно, машина без крови, и кто такой пролетарий? — Не тот ли, кто, претворив в себе маховик, почуяв оторванность от цветов и полей, и от пахаря, — покорила

---

машину, им же пущенную, не тот ли, кто, уверовав в метафизику машины, в домино машины, „где нет конца“, — принял мир, как машину, и на заводе хочет строить хлеб? Но тогда на заводском дворе — пролетарий — служба машины, как инженер — поп. Они перестроят мир. От божьих дворов — в семнадцатом веке — шла культура российская, а от заводов —

В лесу, над монастырем, замела метель. Холодно в гостином доме.

Андрей думает:

— Если бы теперь шел осьнадцатый год, я пошел бы в пролетарскую революцию.

И Андрей говорит Анне:

— Россия шла веками, перелесками, болотами, бежала от государственности, страшная страна, в песнях, в поверьях, в приметах, — Россия заложила в бегстве от Киевской государственности, от удельщины и половченщины. Потом на Оку и Помосковье сели русские цари, монастырями, заставами, надолбами собрали Русь. Припомни, Россия Московская была вся — как церковный притвор, как церковь, от кокошника женского, как купол церковный, до культуры российской из-за иконоспасского монастыря, — потом по России гуляли — Разин, Пугачев. В семнадцатом году вновь загулял по России — Степан Разин, враждебный городам, госу-

дарственности, поездам, загромил Россию, запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, поезда повалил под откосы, перехворал сыпным тифом, убежал с фронтов, кинул все — это большевик, мужик. Веселая над Россией и страшная прошла метель, провыла, прометедила, проготала, все хотела разбить. Но — послушай, — и Андрей молчит минуту. — Послушай. В вихревую эту метель безгосударственную, кровяную, удалую — вмешалась, вплелась черная чья-то рука, жесткая, бескровная, стальная, государственная — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоты, сжимающих все до судороги, — она взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу и стала строить государственность русскую, новую, — она нормализовала, механизировала, ровняла, учитывала, она сменила солнце на электричество, она внесла в каждый дом быт заводской мастерской и рабочей казармы. Эта рука — рука пролетария, рабочего. Это пролетарий над Россией из метели поставил бескровную, черную, всесильную машину, рычаг которой в московском Кремле, — он построил Россию, как карту, как план машины, где люди были номерами — в карточках, в картах, плакатах, словах, мандатах, всяческих заград-отрядах, в карточках на табак, желтых, как человечьи лица, хоть вся Россия правилась метелью и кровью. Пришли новые монахи, прине-

сли новую веру — веру машины — пролетарии. Никто не понял в России романтики пролетария, служки машины, мастера машинного домино, — никто не понял, что он, пролетарий, первым делом должен был быть враждебным — врагом на смерть — церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням, — не только русским, но всего мира. —

— Ну, да. Но где же русский пейзаж, и Ока, и вёсны, и перелески, — и волки, — где же — мы, люди, русские? — Где лучинушка наша?

Задубасили в оконную раму, кто-то крикнул наруже, дрогнула лампа, посыпалась известь. Семен Иванович спал. Семен Иванович, страшный старик, с бородой, как у Маркса, многое видел на белом свете, ко многому приучился, Семен Иванович вскочил с постели, крикнул спросонья:

— Где маузер?

### Без главы, заключение.

В тот год по России страшное было конокрадство. Мужики на ночь оставляли лошадей, стреножа им ноги замком и цепями. — Метели не было. В поле должно-быть мела поземка, — лес шумел сиротливо, нехорошо, — шипел. Комиссар Косарев раза два выходил слушать лесной шум, — это ведь он когда-то — на околице — слушал о разгильдяевских волках — тогда он понял одиночество, тоску, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками. — Метели не было, лес шумел.

Монахиня Ольга в полночь была в бане, молилась неистово. Из бани она вышла уже далеко за полночь, к петухам. Калитка к скотине была открыта, на снегу четко отпечатались грязные коровьи следы, — монахиня Ольга пошла к коровнику, замок был сломан, — и на монахиню Ольгу напало неистовство; остервенела, закричала, завизжала, разбудила всех, задубасила в окна, — побежала к Косареву, схватила у него винтовку и горсть касет. Косарев был пьян, он взял на себя командование, крикнул на Ольгу, чтоб молчала. совеща-

лись на дворе. Семен Иванович, в подштанниках и валенках, был без маузера, — маузера давно уже не было у него. Косарев и Ольга с винтовками пошли по следам коровы, чтоб проследить, на арткаладбище закладывали лошадь. И корову скоро нашли — она была привязана неподалеку от дороги к дереву, в овражке, где была дамба, плотнящая озеро. Решили засесть здесь, чтоб выследить, когда придут за коровой. Засели за дерево, на взгорке, и очень скоро к лесному шуму примешался скрип саней. По пути к монастырю выехали санки с двойми, проехали дамбу. Ольга не выждала, — прицелившись с колена, выстрелила по саням и охнула. Лошадь остановилась. Тогда Ольга выстрелила еще. Косарев обругал по матерному Ольгу и выстрелил сам. Тогда сани, круто взметнув лошадь на дыбы, повернулись обратно, помчались карьером назад, с саней бестолково выстрелили из револьвера. Но на дамбе был поворот и раскат, сани занесло, сани, люди и лошадь, сорвало под отвес, лошадь побила ногами и упала на сани. Косарев и Ольга выстрелили и побежали, — от дамбы, бросив лошадь, тоже побежали, убегая, стрельнули два раза из револьвера. Началось преследование. Так бежали шагах в трехстах друг от друга — до опушки. — Случилось так, что в это время в лес собрался мужичок из соседней деревни, поворовать дров: бегущие впе-



реди встретили мужика у опушки, мужика из саней выкинули, лошадь повернули, помчали на ней — по полю. К Косареву и Ольге пристал мужик с топором, потерявший лошадь, — побежали втроем, стали отставать. В монастыре услышали стрельбу артскладская лошадь приехала на выстрелы. Косарев, Ольга и мужик погнали на лошади: по свежим следам на поземке узнавали путь убегающих. — Из Климовской волости ехал в уездный исполком — на легких санках, на полукровке — предволисполком Штукин: убегающие выкинули его из саней, кинули мужикову лошадь, помчали; предволисполком закурил, поразмышлял, сел на мужикову лошадь и поехал своей дорогой; сейчас же встретили его преследующие: озверевший мужик, узнавший свою лошадь, бросился на него с топором, тот едва спасся. От монастыря примчали двое верхами — один на той лошади, которая свалилась с дамбы. Перепрягли всех лошадей, погнали верхом — Ольга, Косарев, мужик и предволисполком. Гнали версты четыре до нового леса, и тут нашли брошенную полукровку: убегающие, должно быть, минуты три назад, бросили лошадь запаленную и ушли в лес, без дороги. Погонщики побежали по следам. Лес был всего шагов в триста, там под обрывом протекала Клязьма, за Клязьмой было село. Двое — убежавших — были внизу, на льду. Они что-то кри-

чали неистово. Ольга присела, выстрелила с колена, раз, два, три, — и один из бегущих упал, крик на льду смолк, — тогда завизжала, завопила — ура-а-а! — монахиня Ольга.

На льду, лицом к небу, лежал продовольственный инспектор Герц. Около него возились — его товарищ Громов, Косарев, мужик с топором. Выяснилось, что Герц и Громов ехали в монастырь к матери Ольге — провести весело ночь. — И как тогда ночью в гостинном доме, Ольга — черной кошкой — здесь на льду — склонилась над Герцем. —

— Помнила ли она Герца тогда в первую метель, в 1917 году, в октябре, в Москве? Тогда там встречались не сколько раз лицом к лицу, смерть в смерть — Ольга, рабочий Косарев и офицер Герц. — Здесь, в невеселый рассвет на Клязьме, они встретились, связанные звериным инстинктом преследовать и убивать, — там, в Москве в октябре люди шли умирать во имя человеческого — в человеке — инстинкта, инстинкта к правде и справедливости.

Утром, когда погоня за Герцем вернулась к монастырю, и хватились коровы, — коровы не нашли: в лесу, на березке моталась веревка, кругом валялись кости, лежал череп рогами вниз. Корову задрали волки.

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

## Глава первая, вступительная.

В Нижнем-Новгороде, из крепости, из дома губисполкома (был этот дом прежде губернаторским домом), из комнат, прокуренных махоркой и промозгших бессонницей революции, — ибо дом этот свечею торчит в чувашскую самогонщину мятежей еще от Стеньки Разина, — из окон видно: — как сливаются древнейшие две русские реки, Ока и Волга, — и за Волгой, где Ветлуга, Урень, Китеж-озеро, лежат земли Мельникова-Печерского, Семёновский уезд; — за Волгой — из окон — просторы в лесах и водах, грустные просторы, потому что их не вберешь в душу. А из-за Волги взглянуть на Нижний-Новгород: красная крепость, зубцами стен своих из холмов, — как орлиное гнездо, и белой лебедью — средь крестов и колоколен — белый дом губисполкома. Нижний-Новгород много таит в себе — вод, лесов и гор, просторных просторов и тесных овражных теснин.

Уже осень. Темнеет.

И жуток в сумраке заволжский простор. —

Об этих местах есть рассказ, как у Чехова об икре. Рассказан он Алексеем Максимовичем Горьким. Приезжала в Семеновский уезд, охотиться в удельный лес, лет тридцать тому назад, нижегородская губернаторша. Проезжала по улице города Семенова, — увидал ее в окно местный миллионер, не-то Бугров, не-то Башкиров, не-то Рукавишников, старик лет семидесяти. Губернаторша проехала в дом капитана-исправника. Бугров сел за стол, взял перо и написал:

„Ваше Превосходительство и Все-  
милостивейшая Госпожа!

„Будучи старцем преклонного возраста, прельстился вашими прелестями. Не имея возможности согрешать, обращаюсь к Вам с молением дозволить взглянуть на ваши прелести одним глазом и за это обязуюсь внести в любое указанное Вами благотворительное учреждение 100 тысяч рублей золотом.

Вашего Превосходительства и  
Всемиловитвейшей Госпожи покор-  
ный раб остаюсь в ожидании. — “

Заклеил письмо, написал адрес, сказал сыну своему, человеку лет сорока пяти:

— Отнесешь.

Тот понес. Того на конюшне капитана-исправника, по приказу губернаторши, выпороли. Потом

был суд в губернии: не нашли, какую б применить статью, — оправдали, тем паче, что губернаторша суду письмо показать наотрез отказалась — из-за стыдливости. — Но дело не в этом; дело в том, что губернаторша к старцу приходила все-таки, потихоньку конечно, старец осматривал ее прелести сквозь дверную щель, специально для этого сделанную. Труды по взносу ста тысяч в благотворительные учреждения — губернаторша взяла на себя; вскоре потом слышно было, что губернаторша сбегала с репетитором-студентом.

Уже осень. Темнеет. В четыре часа все разошлись и их осталось немного здесь. Синий дымок сумрачных комнат в сумраке — отдыхает. Заволжье уходит во мглу, Волга идет пустотой и простором, — а там, где сливается Волга с Окой, на болотах, в Канавине — вспыхивают огни Макарьевской Ярмарки. Год — девятьсот двадцать второй: что идет второй раз на Россию? — Архип Архипов — уже не тот, уже сбрита пугачевская борода и под бородою скулы оказались, как лемехи из дуба у деревянной сохи, — и так прилажено сложены кожаные брюки в сапоги, и кожаная куртка, и фуражка, и ремешок для часов на руке, и ремешком же затянут сапог, и ремешок, чтоб поддерживать брюки: — богатырское тело. — Осень уже, холодает.

В двадцатом году, — голым годом, — записалось о том, — как: —

— Ночами в Москве, в Китай-городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-город за китайской стеной ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и зипунах, — сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей накладных, биржи, — икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, — весь в котелке, совсем Европа. — А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в эту пустыню из подворий и подворотен выползал подлинный Китай-город, тот — —

И второй — —

В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре после миллионов, после

октябрьского разгуля под занавес, разливавшегося Волгой вин, икор, „венедий“, „европейских“, „татарских“, — в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забытых палаток, из безлюдья — смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз — тот ночной московский — — —

И третий — — —

Но о третьем — потом. Там, за сотни верст, в Москве, огромный жернов революции смолот Ильинку. Тогда, двадцатым — голым — годом зналось, что в Канавино: вбит осиновый кол. В марте волжские воды заливают Канавино, и за годы метелей и половодий российских — многие воды размывали Канавино. Но идет: двадцать второй. Макарий на Канавине отстраивается вновь, — а на Ильинке — — —

Уж осень. Уже темнеет. В кабинете предгубисполкома, еще от губернаторов, синие штофные обои, в них легко отдыхать махорочному дыму, растворяется синим туманом. И дом притих. Архипов — у окна, и огонек папиросы второго — за столом — уже краснеет по вечернему. Тогда из тишины ко-

ридора слышатся твердые шаги — и в дверях, под козырек, матрос.

— Товарищ Архипов. Пароход у пристани. Нефть взята на Сибирской, на пять дней.

— Еду, товарищ.

— Есть!

— Прощай, Тер. Может, поедешь со мной? — Из другого окна распалось Заволжье, когда Архипов подошел к столу, и под обрывом клоками башен пошла крепостная стена. — Отдохнем без людей, сварим уху из стерлядки? — Поедем! — —

Владимирскими лесами, гороховецкими болотами пронес поезд Архипова и вкинул его на Канавинский вокзал, в шум и гам, в ярмарочную суматоху, в свисты, писки и гуды ветлужских свистулук. На вокзале встретило красное новое купечество; начальник гарнизона отчеканил рапорт, под козырек, во фронт, последние его слова: — „Служу народу!“ — Оркестр обрадовал мальчишек тушем, под туш с вокзала вышли красные купцы, шагая по солдатски, как солдаты не шагают. —

— Четыре года: с марта по май волжские воды размывали в Канавине содеянное — и с мая по март рушили Канавино осиновым колом — московскую Ильинку без ночей в три плодоносных месяца

за летом — рушили Канавино кто как мог, все всеми силами, волею народной и народным озорством; — дерево — на топливо, вывески — на крыши, стекла — на звон от камней, кирпичи — на камни, на печурки по бездровью, на ремонт домов, на памятник октябрьского восстания; мертвый город стоял четыре года мертвым, без окон, без дверей, без крыш, в крапиве и репьях, в зловонии тухнувшей воды в подвалах, — и с марта по май — стихии — мыли Канавино вольные волжские воды. Мертвый город стоял скелетом, когда мертвец обглодан до костей. Четыре года. — —

И вот иная воля возродила вновь Макарья — иные люди. Еще висела в переулке забытая вывеска над разграбленным вдребезги домом — „оконные стекла“, — еще гнили в проулах загнившие воды, еще глядел Китай из мертвых корпусов, — но в главном доме и вокруг в рядах, возникла, как столетие назад, — Нижегородская ярмарка. На поездах, пароходами, — на баржах, белянах, расшивах, косоушках — — тысячи пудов, бочек, штук, четвертей, аршин — потянулись товары — из лесов, с болот, заводов, гор, с Каспия, Белого моря, с Чусовой, Печоры и Оби, — от лучин, от керосиновых лампочек, от турбинных, просто от солнца и от северного сияния — на горе и радость, на смерть и рождение, — чтобы жить, как жила Русь сто-

летьем. — Персы, татары, кавказцы, уральцы, украинцы, тысячи — с ними котелки, круглые очки в оправе, трубки, — Азия с Европой, — Азерб-Евразия. — Н-но —

— вывески не те, что прежде: —

— „Трест“, „Синдикат“, „Центросоюз“, „Пепо“, „Эмпо“, „Центротекстиль“, „Сольсиндикат“ и „Цементтрест“, и „Моссельпром“. — И в Главном Доме, в зале, где собраны гербы всех городов и весей русских, собрались — не те, что собирались столетьем, не купцы, не животы в цепях, не фраки, не глазки, всплывшие из ночи и из бород, не эполеты губернатора и белые погоны приставов, — здесь собрались — большевики. И обед был, но были куртки, пиджаки, косоворотки, и речи говорили — бурильщик с Тагиева, слесарь из Сормова, каторжанин с кавказа (каторжанина этого встретил Архипов и вспоминал с ним, как жили в избе вместе в Нарыме), шахтер из Горленки — начиная словом: — „товарищи“ — и кончая здравием русским метелям, половодьям и грозам, русским болотам, лесам, селам и весям — революции русской. И знаемо было тогда на обеде —

— музыка играла в Главном Доме, стерлядь была с Волги, за окнами вывески — „Трест-Синдикатов“ —

— двадцать второй год есть водораздел российских перепитий, где на весах весят: тысячу летье старой Руси и пять годин — последних — этих — российских — из Памиров — и эти пять годин: — тяжеле —

— Пусть этот же оркестр разыграет ночью в казино, в рулетке, в баккара, в железке, в горестях, нищете, невежестве вшивой России, весей и сел. —

Архипов осматривал ярмарку, видел шум, многоголосицу, гам-русскую ярмарку. Архипов показывали радио, и как радио действует: загудела динамо, — антенны завывали, заплакали — покоренная стихия — посыпались искрами.

Инженер сказал:

— Мы вызываем Науэн.

Стихло, — и тогда затрещали счетчики.

— Науэн спрашивает, в чем дело? — сказал инженер.

— Кланяйтесь им! — ответил Архипов.

Уже осень.

Пароход гудит, точно намерен вывернуть свое нутро. На носу в темноте кричат:

— Отдай носовую — у!

Капитан командует с мостика, задушенно:

— Средний.

— Есть! —

Шипит вода, пристань отворачивается — пароход идет в черный простор, в плеск воды, в речной холод. Над Канавиным стоит белесое зарево, зарево красное и вправо, над Сормовом. На горе мигают огоньки жилья, губисполком затерялся в них. Волга пустынна, пуста. Палубу, снасти, решетку перебирает ветер, шарит, свистит. Зарево над Канавиным стало сзади, поредело, поблекло. Исчезло зарево над Сормовом. Впереди — тишина. Архипов стоит на носу, смотрит в черную даль, — ничего не видно мрак. Впереди Поволжье подлинное, на сотни верст вымороченные села, волости и уезды, уставшие, игоревшие в людоедстве, в бурьянах, в мертвых дорогах. Холодно. Справа красно вспыхнул огонек на бакене и исчезнул. Ветер шарит, ворует. Тогда Архипов идет в рубку. В рубке светло в электричестве, тихо, тепло. Приходит командир парохода, во фрунт отчеканивает рапорт.

— Здравствуйте, товарищ, садитесь.

— Прикажете делать остановки, — укажите — где.

— Нет, товарищ, поедем без остановок, так. —

— Теперь на Волге частые туманы. В тумане идти нельзя. Прикажете на якорь стать, не подходя к конторкам?

— Пожайлуста — вставайте.

— Есть! —

И в рубке тишина. И пароход идет. А пред рассветом ветер пал, — безмолвие, пустыня. И слышен крик командира:

— Готовь якорь!

— Есть! —

Туман, безмолвие, пустыня, лишь плещется вода о борт. И в рубке позабыли погасить огонь. Но идет утро.

*Выпись первая. — —*

„Конечно, машина — метафизика, и, конечно, машина больше бога строит мир. Но весь мир на крови: и что кровь машины? — и кто такой — пролетарий? — В Египте, в Ассирии, — откуда пошли, дошли до наших дней, затерялись в веках звездочеты, астрологи, маги, волхвы, алхимики, масоны, запутав историю человечества метафизикой, — у каждого бога был — двор и у двора было сотни божьих служителей, — конечно, не назовешь капище заводом и сотню причетников — рабочими, — но бог, стоящий в святилище, уходил из реальности в вещь, в себя, в нереальность, в мистику. — Ну, вот весь мир на крови, — и что кровь машины? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором,



торчащим в тоску. Завод черен, завод в копоти; завод в саже, завод дымит миру. Ночью блестит завод сотнями электрических светов. Поле, цветы, небо, песни, пахоть — позади. Стоят корпуса, стоят цеха. Дым, копоть и визг железа. И вот где-то в турбинной, где динамо (на каждый десяток рабочих, один — масленщик — гибнет, волей своей бросаюсь в маховик, вращением своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек поворачивает рычаг и весь завод вздрагивает и живет, визжат фрезеры и аяксы, скрипят зубила, рвется, хочет выскочить из себя электрическое клепало: от маленького гвоздя в шкиве до дизельного карбуратора — одно, одна машина, одна воля. Конечно — метафизика, конечно — мистика, где поп — инженер, а рабочие — служки у бога. И тот, кто поймет оторванность от цветов, и полей, и пахаря, кто почувствует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и победит волю в смерть под маховиком, кто — растворив — превторит это в себе, — тот: пролетарий. Этот, принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоти, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках поймет, что он их брат, ибо у машины, как у бога, нет крови. Этот также затеряется в веках. Завод черен, завод дымен, завод в копоти и масле“.

## Глава вторая, провинциальная.

### *Запись первая.*

На базарной площади — не гоголевская, а все-российская — лужа. На углу лужи „Трактир Европа“, посреди лужи — городские весы, на другом углу лужи — сапог и крендель. Когда лужа подсыхает, тогда — пылища. В переулках травка и герань, а скамейки у ворот изрезаны похабными словами. В монастыре — караульная рота чон. Мухи в городе — по погоде, как лужа. За оврагом овраг, там холм, за холмом — Волга: Волга всегда тосклива своим простором, ибо этот простор не вберешь в душу. За городом — большак, села и деревни, ночи и дни. Железная дорога — семьдесят верст.

В городе три камня: первый — на Соборной, обозначающий братскую могилу октябрьского восстания; второй — против каланчи, с изречениями из Луначарского, указывающий, что здесь заложен Дом Народа; и третий камень — за городом, на коровьем выгоне, в том месте, где, по приказу

исполкома, намечается станция железной дороги. Был этот город и есть — захолустье, но теперь кроме того стал еще — столицей, не то чувашской, не то мордовской области, федерации Союза Советских Республик. Жил город по принципу — взаимно: комиссар Пашка Латыгин, заведующий здравотделом, обязал больницы не делать аборт без его мандата, а мандат выдавал за три пуда муки в пользу отдела; соработница муку для абортов брала за бумаги вне очереди; врач послаблял себя в смысле спирта; за спирт сапожник шил ему сапоги; сапожник за спирт доставал себе яловок; — жили по принципу взаимно.

И надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная.

А над деревнями — человеческий хвост, которого вообще у людей нет.

Будет речь о заводском хвосте, — но она впереди.

Село Чертаново, смотря по погоде, по времени, по привычности к этим местам — и в версту, и в три версты покажется. Мужики живут, как живут по всей России. Рассчитывали так, что сначала правили сами, как разбойники, — этак до двадцать первого года. До двадцать первого года, до голода, правили — разбойники, народ хороший, голово-

резы, — взятку дать, самогоном угостить — никак! — морду набьют и в холодную для отрезвления. — В семнадцатом году были такие, которые рас-суждали:

— Зачем, скажем, острожников выбираете?

— Да он, друг, к острожному делу привыкший. Выберут к примеру, меня, а власть обернется: мне в остроге сидеть непривычно — —

Но к октябрю тогда такие разговоры затихли. Власть стала мужичья, по хлебу, хлеб пошел вместо денег, и делали все по закону. —

В двадцать первом году, ввели продналог вместо разверстки. В двадцать первом году взяткой откупиться — самое легкое было дело. В двадцать первом году пол-уезда свои доли скрыли: у мужика клину восемь долей — взятку дал — стало три, — пропала земля, в нетях ходила. К двадцать второму году статистика в этом деле разобралась, порасстреляли кое-кого. К двадцать второму году город сел мужику на хребет крепко: раньше сапоги стоили — четыре пуда ржи, теперь — двенадцать. Мужики рассчитывали: — озимого клина в уезде  $12\frac{1}{2}$  тысяч десятин, урожай хорошо — по 70 пудов с десятины, итого 875 тысяч пудов всего; обратно в землю на посев 150 тысяч пудов, продналогу 327 тысяч пудов, — итого на еду и на покупки остается у мужиков 400 тысяч, а по норме Нарком-

прода — 13 пудов на едока — норма мужику годлая — ржи надо мильон двести тысяч пудов; — хлеба хватит мужикам до Николы. А жизнь мужичья — известная: поесть да поработать, поработать да поесть, да, кроме того, — поспать, родить, родиться и умереть. Осенью в двадцать первом году обозначилось, что многим, у кого клин большой, а под рожью мало — платить продналога придется больше чем уродилось: озорники посылали бумаги, чтобы отставили их от земли, — за озорство их сажали в холодную, на отсидку.

Всю революцию к мужикам ездили ораторы, отк рывали избы-читальни, увещевали мужиков, что продналог и гужевая на их же пользу, гоняли в город на сельские курсы, присылали на курево газеты, книги, молодежь устраивала спектакли, комсомол был: — с двадцать вторым годом это кончилось, никто ездить не стал, за все затребовали плату, в школе и то не учились, — до рождества стояла без стекол, а после рождества не осталось дров. Молодежь сразу вся переженилась, то-есть парни обрасли бородами, обовшивели, мужички поглупели, заговорили с хитредой, зады у всех подсохли; — девки, став бабами, бабами и стали, где от двадцати до тридцати трех лет по внешности возраста не узнаешь, — зародили детей, раздебелились, окорвились. Мужики и бабы — парни и девки, став

мужиками и бабами, всегда глупеют — почему бы? — и женатый мужик — всегда крот. Так и жили.

Село Чертаново — иному в версту, а иному и в пять верст.

Завод лежит — в стороне от Чертанова.

### *Запись вторая.*

Еще до войны, гимназистом, Дмитрий Греков стрелял из дустволки — за девку — в парня Андрея Колчанова: тогда после этого Колчаниха ездила в Иерусалим. — —

В селе Чертанове дела у Колчановых обстояли так: — Колчаниха, Марья Михайловна, свела дочь свою Надежду со скорняком Галиным, от Галина Надюха и заразилась срамной. Мужа Надежды убили в Карпатах, — она осталась жить в мужниной избе, — Галин ходил туда ночевать. У Галина жива была жена-старуха, мордовали ее все — не умирала. Галин торговал кожами, хлебом, конокрадствовал, занимался сенной контрабандой, маклерствовал, — то-и-дело у него были обыски, — поэтому добро свое дома он не держал, зарывал в лесу; — семь золотых часов, три цепочки к ним золотых, четверсто девяносто пять рублей золотом, семьсот тридцать один рубль серебром хранились у Колчановых, у Надюхи. Любовниц на селе у Галина было несколько. Андрея Колчанова в городе врач —

за барана — освободил от красноармейской повинности, дома Андрей не сидел сложа руки: то был секретарем комсомола, то сельским комиссаром, то контрабандитствовал сеном с Галиным, ездил на пароходе за солью и мануфактурой. — Раза два доктор в городе делал Надежде аборт, за баранину. Прошло года полтора. Колчаниха у доктора была своим человеком, приезжала в дом, говорила о святых великомучениках, о граде Иерусалиме, о гробе господнем, — заезжал часто и Андрей, но дальше прихожей не входил. Галин никогда не бывал. — И опять Колчаниха привезла Надежду делать аборт, привезла барана, муки и масла. Была Надежда женщиной красивой, здоровой, полнотелой. Доктор аборт ей сделал, она — уехала. А через три дня ночью привезли Надюху — умирающей. Колчаниха была строга, — уперлась, чтоб операций больше не делали. От дочери не отходила ни на минуту, в дверях с кнутом торчал Андрей, — Надежда не проронила ни слова. Мать тараторила, что — божья воля, пускай, дескать, помирает. Когда Надежду передевали, доктору показалось, что тело ее избито, иссечено кнутом, — мать объяснила, что билась Надежда от боли. К утру Надежда умерла, ее увезли. — И через день к доктору пожаловал Галин, растерзанный, несчастный, застал доктора в спальне.

Завопил:

— Так-с Надюха-с умерла-с?! — Нам-с зять-с надо для суда-с. Мы-с, конечно-с, можем соответствовать-с, — баранчиком-с! — не кончил этак стилизованно, завопил благим матом: — Уморила ведьма Надюху, — забила-а! Меня разорила, — семь одних золотых часиков! — Грековых помещиков на-нет свела, как тот в Андрея палял, — в Ерусалим ездила. Надюху три дня били, чтоб согласилась помирать. И Андрей с ней за одно! — Семь часиков одни! — Прихожу: „где добро?“ — „Спроси у Надюхи!“ — — и Галин убежал от доктора.

Андрей Колчанов был в то время церковным сторожем, вскоре уехал в Москву, — вернувшись пошел в очередь сельским председателем. Надежда забылась. — —

Отец Греков был когда-то председателем земской управы, умер он при японцах, и жена, до самого конца земства, проезжала в городе в управу, сейчас же с воза проходила в уборную и говорила басом сторожу Николаю, чтоб не пускал пока туда никого, — „слушау, барыня“. Говорила она всему уезду ты, и председателю в том числе, и ночевала однажды в кабинете председателя по такому поводу: председатель не уплачивал за лесной постав

для школы, — Грекова расшумелась, ногою топнула, сказала:

— Пока не уплатишь, батюшка мой, никуда не уйду отсюда.

Председатель позвонил, вошел Николай. Председатель сказал:

— Внесешь сюда кровать. Барыня ночевать здесь будет.

— Слушаюсь, барин.

Грекова здесь и ночевала.

Петлю на Грековых накинута Колчаниха, когда стрелял Дмитрий, — оставила усадьбу на десяти десятинах. Это и облегчило перенести революцию. Революция началась с того, что отобрали восемь лошадей и тринадцать коров, а в каретном сарае устроили театр и пожарное депо, поставили две бочки. Мать из усадьбы уехать не пожелала, отказалась, потому что ничего понять не могла, — а за усадьбу держалась, как домовая кошка, хоть и гнали все, кому не лень. Мать по прежнему ездила в земскую управу, где был совет, сначала проходила в уборную, а потом плакалась басом всем, кому придет, и добилась — по дурости, — что ей с дочерью позволили остаться на земле. Театр из сарая переселился в залу, хоть здесь было и теснее. Кроме театра вселились с села два большевика-молодожена, с молодухами, — большевики от женитьбы не

вшивели. Потом театр упразднили и сделали школу, старухе приказали учить ребят. На помещичьей земле образовали коммуну; кроме двух Грековых остальными членами были крестьяне, своего хозяйства не бросавшие. Обрабатывали остатками помещичьего инвентаря, выхлопотали назад пять лошадей и пять коров. Мать и дочь Грековы были сторожихами: ночью, когда сторожила дочь, воры ее изнасиловали. Потом коммуна развалилась. Инвентарь и скот коммунары стали делить между собою, подходил двадцать первый год. К этому времени, — к шапошному разбору, — приехал Дмитрий Греков, очень постаревший, осунувшийся, совсем не шумный, как раньше. Он писал заявления в волысполком, в уезд, в губернию, судился и с крестьянами, и с коммуной, и с земотделом, — и в волостных, и в уездных, и в губернских судах разъяснял, толковал декреты, на них опирался, всех оставляя в дураках и держал в страхе законностью. Кончилось тем, что, уничтожая коммуны, начальство выделило Грекову крестьянский надел, оставили лошадь и корову, — Греков еще писал бумаги, озадачивал власть на местах центральными законами, грозил судом — и сумрачно принялся за пахоту, за хозяйство, с матерью и сестрой. Из Дмитрия Грекова вышел американец. „Закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло“ — и потому вышел на пользу Грекову.

*Запись третья, Елены Андреевны Осколковой.*

Как эпиграф:

— „И надписан над гором — коровий хвост вверх ногами, комбинация невозможная“.

„Владимир купил корову, третьего дня она отелась. Владимир читает книжки о ведении молочного хозяйства и о том, как ходить за коровой: я не знаю, прочел ли он хоть одну книжку о воспитании детей, Глеба воспитывает он. К мужу ходит каждый день коновал. Коновал говорит, что теленка нельзя никому показывать, — и муж никому не показывает теперь, чтобы не сглазили. Коновал же изучает, что корове после доения надо крестить кострец. А Владимир — врач! — Самое омерзительное в наши дни — это то, что все теперь измеряется куском картошки и хлеба, — впрочем, лучше всего сейчас обеспечены негодяи, у них право на жизнь больше, чем у всех иных, — и все же теперь за доблесть получают лишний фунт хлеба.

„Но над землею — весна, и я все дни думаю, мечтаю, выдумываю. Это спасение, — но это: компромисс, — компромисс потому, что, если чистая блузка, то должна быть чистой и сорочка. Есть ли у меня семья? — У меня есть муж и сын. Но в моем

мире мужа моего нет, он не пошел в него. Я не знаю его мира. Он воспитывает сына, — я не знаю, кого он может создать, что он хочет, — и не знаю, — хочет ли? Он ничего не читает, потому что на нем все тяготы жизни, и его интересы только во всяческом продовольствии. Он не читает газет (я тоже не читаю), не интересуется ни общественностью, ни политикой, ни литературой, ни даже медициной. Он попрекал меня куском хлеба. Я много раз звала его в мой мир, — он не идет, — и мне уже скучно звать. За последний месяц он внес в мой мир только рассказ о том, как Колчанова убила дочь, но он не сказал, а я знаю, что внутренне он замешан в этом убийстве. — В какой мир — его мир — я пойду к нему? — Продовольственный мир меня заставил бегать за коровой, за просом и картошкой, и мир продовольственный стоит в моих ощущениях на том же месте, как путь в уборную, и от разговоров лучше не станет. — У нас есть ложь в отношениях, с обеих сторон. Ложь эта порождена недоговоренностью, с обеих сторон. Владимир мне не верит, — и если у меня от этого скука и утомление, то у него глухая злоба. Я молчу и скучаю говорить о моих делах. Он меня ревнует ко всем мужчинам — он отрицает это, я это чувствую, — и это ложь. — А если бы кто знал, как мне хочется семьи, уюта, нежности! У меня ведь так много любви и

нежности — к мужу и сыну, и все мои помыслы — к ним. Я все, что могу, и от сердца и от вещей, тащу в дом, — все, что могу.

„Вчера Владимир говорил, что иссякает хлебный запас, — я предложила перейти на паек, — он упрекнул, что много едим. Что мне ответить? — Сегодня утром проснулась, когда всем домом ходили доить корову, лежала и думала.

„Утром копалась на огороде, — ветерок веет, рязала крапиву для коровы. Потом доила корову — училась. Сейчас — обед, — и после обеда пойду в Чертаново, за 15 верст, за картошкой. Жизнь упрощается до удивительного. Ничего, кроме картошки. Город — это большая деревня безлошадных. Мы сеем просо и картошку — это исполу у крестьян, а рядом за домом будет огород. Все говорят и заняты — посевами, картошкой, свеклой, луком. Об огороде же я думаю хорошо, потому что хорошо рыться в земле. Кацауров пашет на сыновьях, а жена его перестала ходить к нам — завидует нашей корове! Времена!

„Пойду в Чертаново — в поле, полем, над Волгой. Хорошо. Я исходила весь уезд, собирала дань с пациентов мужа, просо и картошку для посева. Третьего дня, насчет проса, я ходила в Каштерово. Какая красота и радость! Ночью я проходила через речку Каштеровку, через парк помещичьей усадьбы,

по сгнившим мостам. Квакали лягушки, пахло цветущей ивой, светила луна. И совсем не странно, почему не вышел из темного дома Евгений Онегин: тот ветер, который опеplал помещечьи гнезда — конечно, прав, дикий, скифский. Из пепла выросли новые лопухи. Кашперовы едят грачей, грачиные яйца, крапиву.

„Вчера я вернулась из Чертанова. Шла над Волгой и размышляла — о себе, о делах, о людях. Чертаново совсем степное село с плетнями, с вишневыми („вышневыми“) садами. Грязь, дикость, нечеловечность — всегдашнее; думала о том, что страшно в России — еще идолопоклонство, зверство, людоедство, дикость, глупость. Это одно, от этого одиноко. А еще — чего не поймешь — наше русское, за что люблю Россию — половое, инстинктивное (темное ли, — светлое?), кровь, — от этого мы пьянеем в пожары, от этого мы грустим, скулим, от этого, не помня и не понимая, мы можем убить человека.

„В Чертанове была у Грековых. Весь сад, вишневый, в цвету. Сумерки. — Кудахчут куры. Воздух золот. Жужжат шмели. Пахнет навозом, сестра трусит овес, для посева. Потом пригнали стадо: пыль (золотая), шум, крик, бляение. А на задах, за садом, за полями — Волга, луга и дальний колокольный звон. Дмитрий Павлович был в поле, пахал

яровые, вернулся, тащась за плугом, — он худой, как его лошадь. Ворот расстегнут и ключицы и мышцы на шее — на-перечет. Ноги подогнуты в коленях, как у мужиков, и сквозь ситцевые штаны остро торчат коленные чашечки. Прошли на террасу, огня в доме не было, во мраке ели щи из крапивы и овсяную кашу, без хлеба. Дмитрий Павлович ел очень много, был хмур и молчалив. Старуха и дочь после ужина ушли спать на двор, к скотине, чтоб сном караулить двор. Мы сидели на ступеньках террасы. Запах навоза прошел, пахло вишней.

„ — Работаю ка-ак собак и грызус со всеми, как вол, — сказал злобно Дмитрий Павлович и помолчал. — Но, — хорошо. Я заплатил за все, за всех, за моих отцов, за мое детство, за университет, за крепостное право, за привилегии, я теперь никому ничего не должен, без долгов. Но я никому ничего не дам и в долг. Будет. Осенью я куплю пуд керосину, вычищу от мух лампу, обложусь книгами, и дорогу от моей усадьбы заметет снегом. К чорту! — до весны. А там опять за плуг. Через пять лет я буду иметь образцовое хозяйство. Знаете, — бросьте в лесу кафтан: волк пройдет, не тронет, — медведь пройдет, не тронет, — стервятник пролетит, не тронет, — пройдет человек — украдет. С людьми дело иметь — не желаю. Будет. Никому не должен.

„ — А Россия? — спросила я.

„ — А чорт с ней, с Россией! Пусть, как хотят. Я знаю только одно, что Россия была дика, безграмотна, свирепа, ужасна — не потому, что у ней было дикое правительство, — а потому, что девяносто процентов России жили на границе умирания с голода, ту же корову подвешивая по веснам, чтобы помочь ей стоять. Я ем крапиву и мне — огромный труд пройтись в парк лишний раз, без дела я не пойду, я все время хочу спать, у меня в доме нет чернил, а книги в пыли. Крестьяне, единственная реальная база, сейчас платят налогов больше, чем до войны, стало быть, они не могут выйти из скотьего состояния, но государство не может не брать этих налогов, потому что у него есть нужды, которые берут его за горло, — и все же государству не хватает, — теперь оно сознает, что оно не может жить сверх своих доходов, — и поэтому оно закрывает школы, больницы, агрономические пункты — даже те, что возникли двадцать лет назад. Россия вернулась назад к дикарям, ровно на тот процент, кой обозначает количество богатств, расстрелянных пушками за эти годы. В этом никто не повинен, это несчастье республики, — но этот закон также категоричен, как то, что человек не может сделать, чтоб ноги у него росли из подмышек. — Греков помолчал. — Нет, я неправду ска-



зал, что чорт с ней, с Россией. Через пять лет у меня будет образцовый хутор, это та лепта, которую я дам России. Но я никому не должен. Это две мои заповеди.

„Дмитрий Павлович встал, извинился, провел меня в комнату, где мне накрыли постель, и ушел спать. Всю ночь в парке вскрикивали совы, а к рассвету запел соловей. — Грековы встали еще до расвета.

„И шла обратно над Волгой, полями. Веял весенний, благодатный ветер. Проходила мимо завода, он свалился к Волге, весь в рытвинах карьеров, — на нем, на заводе, иная жизнь. — Пришла домой, Владимир в трагической позе рвет волосы на голове: ушла, пропала корова.

„Как верно в „Крейцеровой Сонате“ Толстого, в том месте, где он рассказывает, — он, Позднышев, — о том, что были попреки, резкости, грубость, а потом, когда у обоих появляется потребность к половому акту, забываются эти грубость и попреки, и вечером муж и жена сходятся, целуются, забывают (забывают ли?) о дрязгах, — с тем, чтобы утром, когда страсть пройдет, опять не любить, не верить, попрекать. Толстой описывал пошлейшую обыкновеннейшую супружескую связь: стало быть, и у меня это?—

„Я пришла вчера из Чертанова. Дорогой я думала, что иду не домой, а на квартиру. Владимир встретил меня с растерянным лицом и сказал, что пропала корова, — „у нас несчастье“. Корову побежали искать. И мне стало жалко Владимира гораздо больше, чем корову. Я стала утешать. Это было каким-то внутренним примирением, корова нашлась, и я знала, что вечером у нас будет соитие, Владимир придет ко мне. Так и было. Было все очень нежно, с нежными, ласковыми словами. —

„А сегодня, вот сейчас, примирение оборвалось. Началось с того, что мне Владимира стало жаль больше, чем корову, — кончилось тем, Владимиру ножницы стали дороже меня. Я открывала шкаф и сломала кончик ножниц.

„ — Не смей брать моих вещей! Я их только что купил, — не для тебя. Чертовка! что ни возьмет, то ломает! погоди, я еще разговаривать за это с тобой не буду!

„Откуда такой лексикон у человека, кончившего высшую школу? — И опять я квартирантка, на новую неделю.

„Что же, что? — — Знаю, чем больше я буду уступать, тем больше на меня навалится. Сегодня была первая гроза в этом году. Пойду гулять по дождю.

## Город.

На базарной площади — не гоголевская, а все-российская — лужа. На углу лужи „Трактир Европа“, посреди лужи городские весы, над лужей телячий хвост вверх ногами, — на другом конце лужи на углу палисадом в лужу двухэтажный дом Старковых. Железная дорога от города — семьдесят верст. Волга — под городом, за Волгой — посад Слободинский.

В доме Старковых просыпаются все по-разному. Дом национализован, хоть и грош ему цена. Дом давно треснул по всем косякам, но стоит, печки в доме разобраны на мазанки-печурки вместо железок. Вместо обоев в доме — копоть. Окна заткнуты чем попало. Все же пропах дом клопами, — стало быть, не последняя нищета. В нижнем этаже дома: кладовые слева, — справа живет слесарь Крынкин, старик, который, когда напивается, залезает на крышу и оттуда, поучая, разоблачает большевиков. — В мезонине живет вор-Пронька, родом из цыган. Когда прошлую зиму в понизовьях на Волге началось людоедство, вверх по Волге, по льду, пешком потащились тысячи. Под городом они поселялись в солдатских бараках, — там Пронька нашел себе жену, девку Антонида, — выкормил, стала баба — красавица, добродетельная и тупая, как коровий

язык, — признавалась, что съела дома у себя в Пугачевском — отца и сестру малолетку, — сестру придушили, а отец, помирая, говорил матери: „Ты, слышь суды, — помру, не хорони меня, — сама понимаешь“. — Антонину прозвали — Тонькой-людоедкой. У Проньки в мезонине снимала угол Поляша кормилица, из детского дома, которая каждый год родила; дети у нее помирали вряд, и она поступала в приют — кормить грудью, за паек, — любила родить, потому что перед родами пропадало молоко, приходилось с места уходить, голодать, — а как родит, ребенок умрет, — снова на паек. Пронька гнал самогон и иной раз, когда выпивал, бил Поляшу и людоедку. Тонька-людоедка научила тогда Поляшу, — как начнет приставать, чтоб сказала про рукав. Пронька Поляшу побить собрался, — сказала Поляша:

— Вот скажу про рукав-то!

И Пронька взвыл вепрем, посизел, рот заслюнился, табуретку схватил, завопил, как вепрь:

— Убью - у паскуду! Зарежу-у!

Поляша весь день и всю ночь у ворот простояла, в дом боялась итти, — бушевал Пронька. Потом выяснилось; Пронька на горах торговку убил, долго деньги искал и нашел в рукаве; — рассказала людоедка. — У Проньки друзья были, и в городе и в уезде, приезжали, жили, выпивали.

Пронька бывал во хмелю иногда и любезен, тогда говорил гостям:

— Вы мне друзья сердешные, приехали с дороги и выпимши. Я для друзей. Ложись но не спать с Антонидой, с женой, поспи с ней, поиграй, а ты ляг с Поляшей. А я уж один, как-ни-то.

Поляша, которой все равно родить, спать с мужиками — любила. — Бывал у Проньки часто Андрей Колчанов, друг-приятель.

В главном жилье, в середине дома, где шел по всему дому коридор от кухни до прихожей, — жили возле кухни: бывшая хозяйка дома Аглая Ивановна с дочерью Анфисой, бывший член суда — теперь секретарь совнархоза — Илья Ильич Керкович, телеграфистка Рая; на половине коридор был заделан тесом, замазан алебастром, и у прихожей, от всех отгородившись, жил с семейством доктор Владимир Адрианович Осколков. Осколков был у всех в почете, Пронька кланялся ему издалека.

У телеграфистки Раи был любовник, он спекулировал, он ездил — там куда-то — на пароходе, привозил муку и масло, потом вновь уезжал и привозил мануфактуру и керосин. Он Рае привозил и хлеб и керосин, чтоб можно было жарить для него котлеты и завивать кудряшки. Фиса, дочь хозяйки, дружила с Раей, завивала с Раей волосы, хотя любовника еще не имела по малолетству.

Аглая Ивановна — через Раю — просила Раиного любовника привести муки, дала серебряные мужи-ины часы. Был у Раи брат, который приходил к ней ночевать, когда отсутствовал любовник. Петр Карпович, любовник Раин, привез восемь пудов муки — для Раи и Аглаи, — но не успел сказать кому по сколько; муку, не развешивая, положили в кладовой — и ночью ту муку из кладовой украли, пробравшись в кладовую со двора в окно. Сначала плакали и Рая, и Аглая. Но бывший член суда Илья Ильич Керкович здесь разъяснил на основании Десятого тома законов Российской империи, что плакать надо лишь Раисе, что Аглая не при чем и что муку или часы обязана Раиса возвратить Аглае. Рая Десятого тома не знала, должницей считать себя отказалась наотрез. У Раи и Аглаи произошел скандал, и визг, и бой, и вопль. Аглая с дочерью направилась к телеграфистке Рае в комнату и, так как мебель здесь была хозяйская (и дом лишь был национализован), — вынесли из комнаты телеграфистки Раи — кровать, комод, диван, стол, столик, стулья, оставив стены, пол и потолок. Илья Ильич Керкович был вдохновителем Аглаи. Был визг при очищении комнаты — не малый. Илья Ильич Керкович в очках, с „Известиями“ в руках, в жилете, стоял у двери, молча наблюдая. Но дом был национализован, все были равны, слуг

не было, — а, после кражи, дом постановили запереть, — и телеграфистке Рае часами приходилось караулить у дверей, когда кто-нибудь пройдет, ибо специально ей никто не отпирал, ибо — теперь лакеев нет! — лазить же в окно было нельзя, ибо окно было во втором этаже. Тут на помощь Рае пришел ее брат: по дружбе от приятеля, из-за Волги, из посада Слободинского, от жилищного отдела он достал бумагу, где значилось:

Р. С. Ф. С. Р.

Слободинский Исполком  
С. Р. и Кр. Деп., —  
и прочее —

Гр-ну И. И. Керкович.

Жилищный Подотдел Коммунального отдела Слободинского Исполкома сим предписывает гражданину Керкович, проживающему по такой-то улице в доме № такой-то города такого-то отпирать двери сотруднице Наркомпочтеля гражданке Раисе Колесниковой.

Председатель.

Секретарь.

Печать.

Илья Ильич Керкович сначала было испугался этой бумаги и один день караулил Раю, чтоб отпереть незамедлительно, — но, потом перечитав бумажку много раз, сообразил, что город посаду Слободинску не подчинен, и пошел в городской жилищный подотдел за справками, — в жилищном подотделе нашли, что, во-первых — не подчинен, — а, во-вторых, подпись председателя и секретаря одна и та же, и обе вымышленные. Началось уголовное дело. Илью Ильича Керковича поблагодарили, от швейцарских обязанностей он был освобожден: он был героем. — —

Пронька позвал к себе Аглаю Ивановну к чаю, усадил за стол, налил, баб выгнал и наедине сказал, выпивая с блюда:

— От вас, Аглая Ивановна, зла я не вижу. Скажите, сколько муки вашей было, потому что муку взял я с братвою, и не хочу вас обижать. Зла я от вас не видел. Я хотел добраться до Карпыча, Райкиного любовника. Только предупреждаю, чтоб об этом ни-гу-гу. Сами понимаете.

*И без названий.* —

Идет и проходит май.

Манит маями земля к себе, и ночи расплескивает земля соловьиным чоканьем, росой и медвяно-

стями. Луна в мае идет землеправителем, красная, властная. И каждому надо тогда итти в туман, ибо манит в туманы маева маята. Благословен мир.

Идет и проходит июнь.

Июнь — хрустален. Голубые зори — заря с зарей сходятся — и на рассвете на западе растворяется в хрустале утра бледный, скорбный диск луны. А на востоке в золотой короне поднимается солнце на целых двадцать часов. Благословенна земля.

*Сенокос.*

Как эпиграф:  
„Андрей Колчанов контра-  
бандитствовал с Галиным“.

В июне — до Петрова дня — над лугами за Волгой и здесь, на десятки верст, как над всей Россией загорались костры в ночах: то косари пошли губить травяную, цветковую жизнь, — гробить, валить, ложить, — осенцы, пыреи, дягельники, кашки, дикие овсы. Сенокосные дни над Русью — медовые дни, как брага, хоть и пахнет земля тогда вяжущим медом да дегтем. До июня косили в госфонд — за отаву: потому и спешили, чтоб побольше возросла отава. На десятки верст вправо и влево легли госфондские луга, и госфонд по суводям на Волге поставил барж, чтоб грузить, чтоб посылать в

Москву, в Питер, в армию, — а по лугам госфонд рассыпал объездчиков и роты три солдат попрятал по овражкам, по ложбинкам, на границах госфондских лугов, — госфонд — государственный фонд санных запасов. И тогда, когда сено стояло в стогах, и стогами грузились баржи, — начинались в госфондских лугах, как с искона веков, великие кража и контрабанда. —

На десятки верст раскинулись луга, как целый уезд, — займища, поемы, весною здесь Волга. И телеги надо подмазать, как следует, чтоб не скрипнула в коростелином переполохе: потому-то и пахнет так дегтем. А ночи в июне коротки.

И — ночь.

Мужики столковались. Доктор Осколков лег, накрылся пиджаком, чтоб закурить, чтоб не видно было огня. Капал тихинький дождь. Командовали Пронька и Андрей Колчанов. Пришли разведчики, сказали, что солдаты только что проехали, объездчик в шалаше у ворошилок, — что версты за две грузит, тоже контрабандой, Галин — для союза кооперативов, — видели с собственной телегой комиссара Пашку Латрыгина, просился взять его в обоз; видели Грекова — косит в госфонд за отаву, здесь и ночует. Вскоре пришел Латрыгин, заведующий здравотделом, — очень смущенный обратился к доктору Осколкову:

— Владимир Адрианович, — одному мне уйти отсюда невозможно, вторые сутки здесь живу в овраге, прошлую ночь грузил и пришлось свалить. Но — сено, однако, необходимо. Иначе не достанешь. Разрешите пристать к вашей артели.

Отрезал Пронька:

— Пошел отседа ты, к. . . .

Доктор сказал:

— Нет, почему же, товарищи? Надо помочь человеку. Едемте с нами. Пусть едет.

Тогда согласились.

Стемнело. Коростели, у которых погибли гнезда, кричали переполошено. Небо было мутно. Тогда Андрей ушел в овраг за телегами, стали грузить. Охранители разошлись кругом на полверсты, человек десять. Сигнал: зажечь под-ряд три спички. — Прошло полчаса, мальчишка обежал всех, сообщил: погрузили. Обоз, нагруженный, ушел в овражек. Собрались все, чтобы перепроверить план. — Итти кругом обоза шагов на пятьсот друг от друга. Как что заметят — три спички, и сейчас же к спичкам от обоза Пронька и Колчанов, с объездчиками и красноармейцами — на спор. — Поехали.

Осколков идет один, впереди и слева от обоза. Коростелиный крик, мрак и тихий, тихий дождь. Обоз исчез во мраке и не слышен: идет ли? где? и не отбиться б, — и не пропустить бы трех спичек.

Прилег на землю, прикрылся пиджаком и закурил в рукав. Так проходит час, одни коростели. И вот:

— Эй, кто тама? Кто такой?

— Свои, свои!

Из мрака, с винтовкою в руке, идет, но не подходит близко, красноармеец. В поспешности зажег три спички.

— Эй, кто тут? Кто идет?

— Свои, товарищ. Ходил в Бердяево, иду домой.

— Что ночью шляешься? — Э-эй, Лактанов — беги сюды, — жуллер, либо контер-бандит.

Откуда-то поблизости бежит еще красноармеец. И с двух сторон подходят медленно, в карманы руки, в плечи головы — Пронька и Колчанов.

— Чего орете? — это мы!

— А кто такие мы?

— А самые что ни на есть бандисты. Ходили к гостю, выпили и вот идем домой, еще добавить. Она и Вася — будет! А ты орешь, дурак. Хошь выпить, — айда с нами, она и Вася. А не хошь, — так и в морду получишь. А-а, и ты тут, ваше благородье?! Айда с нами!

— Которые тут контер-бандиты?!

— Да он спросоня! Бей их, я их знаю!

И трое идут в сторону, от обоза, шумно говорят. — Красноармейцы идут вслед за ними.

Пронька зажег две спички, — т.-е.: опасность миновала. Обоз тронулся. — Красноармейцы все идут поодаль. Пронька и Колчанов их наподдевают дружелюбно: — „она и Вася, бей их, я их знаю!“ — Так до овражка, — а там в овражке, дном — опроретью во весь дух, всторону, за холмик, на луга, — к обозу.

Но вот настает рассвет: в рассвете на западе растворяется в хрустале утра скорбный диск луны, и на востоке в золотой короне поднимается солнце на целых двадцать часов. — Обоз уже стоит в Чертанове, и сладко лошади жуют украденное сено.

### *И июль. Земляника в июле.*

В июле на Петров день — и Петров день, конечно, и июньский праздник! — на заводе у инженера Форста собрались гости, был детский спектакль, потом, на террасе, вино и споры. Инженерский поселок лежал за заводом, в соснах, недалеко от Волги и Казанки. После ужина, за столом на террасе остались одни мужчины, допивали водку и спорили, — женщины и молодежь ушли в сад. Была белесая, июньски-мучительная ночь: бритые лица инженеров — в белесой мути стеклянной террасы — походили на черепа. Со-

ловьи уже кончили петь, но свистала рядом в малине малиновка, а из ржи, когда за столом затихали, слышен был крик перепела — „спать-пора“. Свеча под стеклянном колпаком выгорела, на террасе было накурено, мужчины были в белом — и, потому что стекла делали краски неестественными, на террасе, на лицах, на людях были только две краски — черная и белая — и их варьянты: серая, сероватая, серенькая.

Коростели кричали по-здоровому, призывая к доброму сну:

— Спать-пора! Спать-пора!

Из калитки, из садика вышли двое, Дмитрий Павлович Греков и Елена Андреевна Осколкова. Они прошли дорогу ржами, свернули к Казанку. Светила в последней четверти луна, и Дмитрий Павлович показал при помощи прутика, как узнавать лунную фазу: надо прутик приставить к рогам месяца, и, если получится французское *p* — первая буква слова — *premier*, то стало-быть — первая четверть луны, — если же получится *q* — *quatre*, то — четверть четвертая. Елена Андреевна посмотрела на луну, лицо ее было задумчиво, лицо ее было по-русски красиво, в глазах блеснул лунный свет, — и она задумчиво сказала:

— Сейчас белые ночи. Пройдет эта луна, и ночи будут черными. — И помолчала. — Знаете,

иногда в марте и июле, на востоке поднимается луна, красная, как раскаленное железо, — и тогда в этой луне с востока слит весь наш русский Восток, вся наша Азия.

И эти слова наполнили Дмитрия Павловича поэзией, хорошей и настоящей, той, что открывает подлинные смыслы вещей. Он ощутил, что — да, ночи будут черными. Ржи шелестели, и на землю пала роса. У Казанка, на траве около дороги паслась лошадь и стоял воз с оглоблями в небо — какого-то русского пилигрима; костер у телеги потух. Они вошли в Казанок. Старый лес, обомшалые сосны — так простояли — быть может, столетье, но все же были пни в зеленом мху, зеленая луна светила сквозь ветви, луна была необходима. Была тишина, крутая, как мрак. Казалось, ни одна человеческая нога не была здесь до них. Она села на пеню, в белом платье. Он у ее ног разложил костер. Сухая можжуха затрещала, зашипела, посыпалась искрами. Мрак сразу стал черным, деревья придвинулись, переместились, луна оказалась ненужной, беспомощной. Елена сидела у костра, склонив голову. Он сваливал сучья в костер, исчезая за ними во мраке; когда костер полыхал, он садился около ее ног, голову прилонял к колену, — и так сидел неподвижно, пока не прогорел костер и луна не пробиралась вновь,

зеленым холодком, — тогда он опять шел за хвостом. Дорогу сюда они немного сплетничали и говорили — о русской революции, — но здесь у костра они молчали. А когда потух костер, и вдруг стало ясно, что ночь проходит, что светает, что луна исчезла и деревья — обомшалые сосны — строятся в денной порядок, — и Дмитрию Павловичу не было возможности подняться от огня, от ног Елены, — поднялась она и сказала, как надо говорить утром:

— Только у нас никогда не будет романа. Идемте. Ночь проходит.

Часть гостей уехала. На террасе еще спорили, но хозяин уже спал. На заводе достали еще сырцу и инженеры допивали его, закусывая селедкой с земляничкой. Ночь уже прошла. — Так пройдут эти белые ночи, пройдет луна, и ночи будут черные. —

Елена Андреевна осталась ночевать у инженера. День застал инженерский дом пустым, и она долго не поднималась. Петров день прошел, июньский праздник в июле. Деревенские девочки у террасы предлагали землянику. День был зноен и ясен. Елена пошла в Казанок, одна, в канаве у опушки росла земляника, лесная, крупная и сладкая, — но в лесу не было никакой таинственности, было прозрачно и ясно. Елена нашла пень, у которого жгли костер, и села на него. Около пня в траве



было много земляники, перезревшей, которую ночью не было видно. Когда Елена наклонялась за ней, от пепла, где был костер, пахло горько горелым, сгоревшим. Елена Андреевна пошла домой, в город, — во ржи нарвала сноп васильков.

Вечером закапал дождь.

А Греков, в этот же вечер у Волги, у Чертанова, — подходил к лесной сторожке. Закинув сапоги за спину, во мраке и мокроти, по глубочайшим колеям, от которых трещали ноги, шел Греков. В лесу было темно, моросил дождь, нехорошо кричали совы, изредка в сырой траве вспыхивали ивановские червячки. Потом пошло коростелевое поле, в последней четверти поднималась луна, чуть красноватая.

В сторожке, опять в лесу, светила лампа. Баба принесла крынку молока и кошелку земляники, — хлеба не было. Тут Греков заночевал. Свежее сено в сарае — лесное — тоже пахло земляникой.

Девка вышла из избы, пробежала собака, кто-то свистнул во мраке.

Дождь все капал.

## Глава третья, героическая.

И идет и проходит июль. —

И идет и проходит август. —

И идет и проходит сентябрь.

*Сентябрь.*

Если с Волги взглянуть на город — не виден он, холмы, церковный крест из холма, гребенка сосен. — Осень уже. Ночь. Ничего не видно. Пуста, пустынна, черна Волга, плещет о борт пароходный вода, туман над Волгой. Не виден над Волгой город и только на заводе одинокий горит во мраке свет, яркий, точно вырезанный из мрака. — Шипит вода, пароход идет черным простором, в плеске воды, в речном холоде. И туман — серый, осенний, липкий. Огней на бакалах не видно. — Архипов стоит на палубе, на носу холодно. — Тогда приходит командир парохода и говорит:

— Здесь прикажете приставать?

— Да, здесь мы пристанем, — отвечал Архипов.

— Есть, — и капитан уходит.

Ночь. Шипит вода. Тишина. — И тогда гудит пароход, точно намерен вывернуть свое нутро.

— Средний! — кричит капитан с рубки, — и гремят, скрипят рулевые цепи.

Архипов думает о России, о революции, о мраке, о водоразделах русских, — так как думают наедине. — Ночь. Шипит вода. Тишина. Туман. Прогудел пароход, и с берега откликнулось общипанное эхо. — Туман, тишина. И серый в тумане пристает к конторке пароход, — серый в тумане стоит Архипов.

— Чаль носовую-у! — —

Архипов идет в рубку, вниз, в каюту, снимает сапоги, распоясывает кожи. — „Нет, мы победим, пусть руки в крови!“ — „Весь Мир на крови!“ — „Да, но я говорю о другой крови!“ —

На рассвете прознали о приезде комиссара. Сначала на пристани толкались два крестьянских ходока, приехавших в эту ночь из-за Волги, тыкали приговор, объясняли всем, что село их рыболовное, занимается рыбой и садами, — а с них берут продналог зерном, с лугов. Пришел Пронька. Кучкой, веером расселись торговки с кошелками. Потом приехали на тарантасах — секретарь укомпарта, предисполкома, завсовнархоз. Торговок прогнажи, Пронька ушел сам, ходоков направляли в земотдел. Сначала-было выстроились у сходней, — но рассвет надвигался медленно, — промерзли, пошли в конторку к кассиру пить чай. День приходил пасмурный. Ветра же не было — туман расходился медленно. — —

*Завод.*

Как эпитафия — Г о л ы м Г о д о м: —

„И третий Китай-Город. Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха, — в цехах ржа и снег“.

Конечно, машина — метафизика и, конечно, машина больше бога, строит мир. Но весь мир на крови: и что кровь машины? — и кто такой пролетарий? — В Египте, в Ассирии, — откуда пошли, дошли до наших дней, затерялись в веках: звездочеты, астрологи, маги, волхвы, алхимики, масоны, запутав историю человечества метафизикой — у бога был двор, и у каждого двора были сотни божьих служителей, — конечно, не назовешь божий двор заводом и сотню причетников — рабочими, — но бог, стоящий в святилище, уходил от реальностей в вещь в себе, в нереальность, в мистику. — Ну, вот, — весь мир на крови — и: что кровь машины? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором. Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. Ночью блестит завод сотнями электрических светов. Поле, цветы, небо, песни, пахарь — позади. Стоят корпуса, стоят цеха. Дым, копоть, и визг

железа. И вот где-то, в турбинной, где динамо (на каждый десяток рабочих один — масленщик — гибнет, волей своей бросаясь в маховик, вращением своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек поворачивает рычаг, и весь завод вздрагивает и живет, визжат фрезеры и аяксы, скрипят зубила, рвется, хочет вырваться из себя электрическое клепало: от маленького гвоздя в шкиве до дизельного корбуратора — одно, одна машина, одна воля. Конечно — метафизика, конечно — мистика, — где поп — инженер, а рабочие — служки у бога. И тот, кто поймет оторванность от цветов и полей, и пахари, кто почует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и поборет волю в смерть под маховиком, кто — растворив, претворит это в себе, — тот: — пролетарий. Этот принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоти, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках, поймет, — что он их брат, ибо у машины, как у бога, нет крови. Этот — своей алхимией — сместил алхимика и так же затеряется в веках, как дьякона Астары, которые в святом святых подкрашивали бога, — затеряется своей метафизикой. Их немного, этих причетников машины. И еще: те у бога должны были томиться в лепости и леностью искать забвенья в звездах,

— эти у машины должны трудиться, им не до звезд.

И вот завод, — нет, не ордынский, не Таежский. Завод почти молчит, завод почти стоит. Ворота — главные — забиты, к ним тропка заросла травой, и на заводском дворе жухнут лопухи и — сиротливо. Так на них, в репьях — по осени — кричат щеглята. Завод — цементный. В тот — в двадцать второй — год в России все цементные заводы в год производили столько, сколько раньше один район — Московский — в две недели, потому что в России не нужен был цемент и его не покупали: это двадцать второй год. Но на заводе остались инженеры, попы без прихода, — и несколько рабочих живут в разгромленном и в вымершем поселке: они — пролетарии. Но турбинная — горит, горит ночами.

*И осень. Сентябрь.*

Потом будет — зима, заметут вьюги, занесут снега. — Холмы падают к Волге, бурые холмы, развороченные карьерами. Щетками кой-где торчат еловые перелески. Завод в лощинке, торчат трубы. Там, дальше Казанок, лес. Волость Чертановская. Будут — зима, вьюги, длинные ночи, занесет снег.

Инженер Форст многое может вспомнить, — он может рассказать о всяческих буднях. Но у него плохая память, и он плохо наблюдает за бытом. Но зима — для него — совсем не к тому, чтоб вспоминать: — к зиме надо подтягивать гашники крепко. — —

Если душу инженера Форста уподобить жилету — его вязанному, теплomu, коричневому жилету, — то в самом главном кармане, рядом лежат человек и труд, — Человек, который закинул свою мысль в междупланетную пустоту, который построил дизель, который разложил мир даже не на семьдесят два элемента по Менделееву, но разложил и азот, который вкопал свою романтику во времена до Египта, до Ассирии, до Иудей. — Кроме жилета у Форста была нерусская трубка, и — от нее лицо казалось — лицом морехода. Он говорил абсолютно правильно по-русски, академически правильно, как не говорят русские. — Он многое помнил за эти годы, которые были, как солдатская шинель. — Тогда, в октябре, когда национализировали завод, стреляли, выбирали завкомы, когда вся Россия стянула гашник и замерла — серыми октябрьскими днями — к победе, — он, инженер Форст, бегал по заводу и все доказывал, — что: — „пожалуйста, будьте добры делайте все, что надо,

будьте любезны, но заводу нужно сто тысяч пудов нефти, а навигация закрывается: без нефти завод станет“, — и он достал нефть, сто тысяч пудов, тогда, в октябре, под пушками и пулеметным огнем. Это будни. — Он помнит, как наступали белые, как шли вниз пароходы, и по берегам волоклись люди и лошади, серые, как шинель, с пушками, повозками, обозами, винтовками, бомбами. — —

Но инженер Форст любит вспоминать другое, — он знает, — это в главном жилетном кармане души, — человек и труд; он — не политик, инженер Форст, он помнит — —

Новые птицы новой политики, двадцать второй год, конец двадцать первого, — пришли в город (об этом городе и губернаторше рассказано Горьким) —, в Чертановскую волость, на завод, к коммунистам из сел, — под жутким определением шапочного разбора. — Завод остановился, ибо не было топлива и спроса на цемент, завод занесло снегом. — И тогда, как раз, должен был быть пленарный волостной съезд советов — —

Январь, мели метели, дни прибавили, выросли от ночей. Съезд собрался в заводском поселке, в театре. — Инженер Форст прошел мимо елочек, щеткой разметивших небо, спустился в овражек, карьерами поднялся на холм к соснам — в поселок.

Был мороз, день был ярок, светило солнце, бодрое и такое, точно оно в ледяных сосульках, в диком малиннике в соснах кричали бодро синички. Воздух был бодр, черств, деловит, как инженер Форст. — В театре зашипел гул толпы и первыми запахами, которые поразили инженера Форста, были запахи махорки и овчины. От махорки и овчины в театре казалось темно. Потом Форст разобрал козьи бороды, лошадиные хвосты, кроличьи курдючки — мужичьих бород, треухи, папахи, шлыки, пиджаки, гимнастерки, полушубки — людей, мужиков, сидящих на полу и скамьях, стоящих в дверях и на окнах, сваленных, смятых грудой Руси. На сцене сидел президиум — коммунисты. Член президиума говорил очень громко, и неуверенно, и бестолково.

— У нас теперь, товарищи, новая экономическая политика, — политика у нас теперь: экономическая. И правда, товарищи, на что нам мельницы и парикмахерские, а также квасные заводы? — Пусть их обрабатывает предприниматель, — пускай развивается! Государство, товарищи, оставляет себе мощные заводы, а остальное отдает в аренду. Теперь будет аренда, а также хозяйственный расчет, товарищи, — то-есть... —

Но тут докладчика перебили с места. Давно уже на Руси те большевики, что делали октябрь девятьсот семнадцатого года, разложились на боль-

шевиков и коммунистов, и большевики отошли от революции. Зал, съезд слушал докладчика напряженно и злобно, — и вскочил с места прежний, семнадцатого года, большевик, сдернул треух с головы, помотал им, оглядел собрание победно, мотнул козьей бородкой и заорал:

— И что же мы видим, граждинины? — И выходит, граждинины, что приходится делать третью революцию! — И выходит, что опять хозяйский расчет, то-есть — гони монету хозяину. И политика теперь — экономическая, — стало-ть, за всё — деньги, вроде как барский экономии, и — вы слышали, граждинины, что сказывают из президиума? — опять помещики будут сдавать землю в аренду! —

Из президиума — докладчик — перекричал:

— Помещиков — нету, про помещиков не писано, товарищи! Государство будет сдавать в аренду, а не — помещики!

— Вот и говорю, — ответил треух, — и вот и говорю, граждинины, и надо третью революцию, и за помещиков стали коммунисты, товарищи. И мы предлагаем резолюцию —

Тогда заревел зал, задвигался, пополз, насел к рампе, поползли хвосты, козьи бороды, курдюки, лисьи, козьи, рыбы глаза, треснула перегородка к музыкантам, слова полетели, как галки на пожаре: „Будя! — долой! — помещиков не желам! —

Долой хозяйский расчет! — долой барский экономии!“ — —

Из президиума председатель, треща звонком, орал:

— Товарищи, рабочие и крестьяне! Военный коммунизм кончился! Народная власть не может на штыках!.. Товарищи, рабочие и крестьяне! Вся власть ваша! Черти! давайте по порядку!

Кто-то провизжал:

— Штыкии! Стрелять будитии? — Пали! Стреляй!

Около Форста стоял мужичек, чахоточный и добрый, — он говорил тихо, ибо за гамом только и слышен был тихий разговор:

— Э-эх, Гуг-Отыч, и по правде выходить, надо по божьи, безо всякой, то-есть значит, власти, кто как можить, зато как разум и совесть подсказывают, — бяз Москвы — —

Инженер Форст никогда не был политиком — инженер Форст в главном кармане души своей носил память о труде и человеке — инженер Форст был попом при Астарте-машине — инженер Форст не подумал, что на съезде идет контр-революция — инженер Форст понял, что машина ломается, — только. —

И тогда инженер Форст на трибуне — первый раз в жизни — ирландская его трубка в зубах, —

и он говорит очень негромко, потому что только негромкая речь и слышна:

— Граждане, получаютя беспорядок и безделье. Граждане, вы не поняли сообщения докладававшего. Позвольте дать мне разъяснение, при чем я прошу президиум в тех местах, где я буду расходиться с ним во взглядах и объяснениях, оставивать меня, — а стало-быть, до тех пор, пока президиум меня не остановит, я буду говорить как бы от его имени.

Толпа осела назад, рядами расправились бороды, глаза и овчины. — Обыкновенно люди не могут восстановить, как они говорят, — и Форст помнит, что он начал сазбучного, объяснял, что значат слова — политика, экономический, почему новая экономическая политика называется н о в о й, чем она разнится от старой. Президиум повеселел, оправился. Толпа оформилась. Форсту казалось, что он говорит азбучные вещи, необходимые, чтобы спасти Россию, — но человеку со стороны было ясно, что он, Форст, говорил толковую коммунистическую речь, — и только: — это было потому, что пути Форста тогда сошлись с путями русской государственности.

Треух провопил с места:

— И вот, и так бы объясняли, — что значит ихая научность! А то — хозяйский расчет и аренда! — Правильно!

Толпа ошетинилась:

— Молчь!

— И этот день Форст хорошо запомнил, — он наизусть запомнил резолюцию, — он помнил вечер, елочки и тот бодрый морозный воздух над снегами, кои были на обратном со съезда его пути. — Те дни были трудными днями. Форст жил и думал утрами — и еще по вечерам, за письменным столом, за книгами, в кабинете, — тогда нравились ему русские метели. Форст знал — труд. Но те дни были трудными днями — и всей России и русской власти. Форст искал людей, помощников, — и он знал, что на заводе есть только одни, кто поможет ему, у кого одна с ним воля — трудиться: — коммунисты. — А вечерами, если были метели, Форст вспоминал —

— что кровь машины? — Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. Ты отрезан от мира забором. Ночью блестит завод сотнями электрических светов. Одно, одна машина, одна воля. Конечно, метафизика, — конечно, мистика, — и поп думает о том, как машина побеждает трудом мир. Поп понял оторванность от цветов, и полей, и пахаря, — поп знает сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, — поп поборол волю в смерть под маховиком, — поп, растворив, претворил в себе маховик. Поп

знает о недочетах алхимика, — и знает, что он их брат, ибо у машины, как у бога, нет крови. Но ему — и до звезд: он думает о человеческом гении, закинувшем волю свою в межпланетную пустоту, не пугаясь открытий Дарвина, того, что пращур его — обезьяна.

Осень уже. Сентябрь.

*День и ночь.*

Осень уже. Сентябрь.

Кто в России не знает, как по осеням над всей Россией — в дождях, в ветре, в пурге, в стуже, в туманах, когда земля ограблена — мучает мрак? — Треть России не знала в тот год никакого огня, треть России жгла лучину, — но и керосин — кто не знает, как сиротлив он, сумрачен, не в керосиновой ли зеленой лампе вся романтика и вся ущемленность столетия русской интеллигенции, тогда умиравшей — ? Но на заводе, в квартире директора, в кабинете директора электрический свет, яркий, холодный, бодрый. Окна в деревьях горят в ночь. В доме вытоплены печи. На письменном столе, на красном сукне — в чистоте и порядке — книги и все, что нужно для книг и бумаги.

День.

День идет серый, бесцветный, мгlistый. Небо в облаках, вот-вот пойдет дождь. Деревья в лесах стоят голы и неподвижны, сосны мокры. Поля лежат сиротами. Город — сер. Село Чертаново — иному в версту, а иному — в пять. На площади, где церковь, — пустая школа, окно, где живет учительница, заткнуто тряпкой, — утро. А напротив школы пятистенная изба начетчика Челканова, старообрядца-беспоповца: и в чистой половине, где вся стена в образах, расставлены тесно длинные столы, крашенные охрой, — за столами такие же скамьи, и на скамьях — детишки, только мальчики, — девочек начетчик не берет. Начетчик — в коричневом сюртуке до щиколоток, с красным шарфом на шее, в белых валенках, с очками не на носу, а на лбу — стоит под образами и говорит:

— Аз!

И детишки повторяют:

— Аз! — —

За овражком, за селом в усадьбе ходит — бегает из угла в угол Дмитрий Павлович Греков, сыпет махоркой: у него необыкновенные мысли — он не видит нишей комнаты — он грезит наяву, — он — гражданин России. За окнами — к окнам скло-

нилась одичавшая сирень, там дальше вишенник, торчат три сосны — —

Чертаново — иному в версту, а иному — в пять. Город — сер, и надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная. Идет утро, и сумрачен доктор Осколков, и торжествует бывший член суда Керкович. — На площади, за всероссийски-гоголевской лужей, в доме Старковых — — до революции жил акцизный чиновник Керкович, брат члена суда, он ушел на войну еще в четырнадцатом году — вести о нем потерялись, — и вот он приехал, уже инспектором рабрина, чтобы забрать свои вещи, — и выяснилось, что еще в восемнадцатом году, когда национализировали дом, были забраны его вещи, как бесхозьянные. Инспектор рабрина в архивах разыскал списки вещей и стал собирать, — и оказалось, что шубу уисполком передал доктору Осколкову, — доктора Осколкова пригласили в уисполком и предложили сдать шубу в двадцать четыре часа, об этом говорил весь город. Инспектор рабрина нашел и ковры, ковры были лодзинские, с фигурами людей, испанцев, ковры были большие, и в клубе комсомола инспектор рабрина нашел половины ковров с ногами, — половины же ковров с головами были найдены на квартире военкома. — —



День идет серый, безветренный, мгlistый. Небо в серых облаках, вот-вот посеет дождь.

Утром члены исполкома пьют чай на пароходе у Архипа Архипова. Архипов отказался от официальной встречи, пьют чай. И почему-то разговор пришел — к чайным. В городе есть советская чайная и чайная Дедушкина.

— Надо сознаться, к Дедушкину больше ходит народу, — говорит управдел исполкома.

— Все от постановки вопроса, — отвечает заведующий наробразом.

— От нашей халатности, — возражает управдел, — наша чайная вот под твоим началом находится, а сам ты к Дедушкину ходишь.

Завнаробраз немного фраппирован, потом говорит, сдвигая строго брови:

— А может у меня есть какие особые задания в чайной Дедушкина в смысле наблюдения, то есть... — говорит он.

Мирно пьют чай. Военный комиссар — матрос — вспоминает, как дрались под Царицыном, последний раз. Там тогда был и Архипов.

Прощаясь, Архипов говорит:

— Я приехал сюда не по делу, еду отдохнуть. Здесь на заводе есть мой товарищ — инженер Форст. — Мы все поистрепались за эти годы, как машины. — Это он сказал и подумал: — „Да, ис-

трепались. Но одни хотят залечиться, наладиться, чтоб работать вновь, — работать, работать. Другие же уходят в обывательщину. Самое страшное нам и России — обыватель“.

День идет серый, безветренный, мгlistый.

*Ночь.*

И к ночи пошел дождь, ночь стала черной, сырой, зашарил ветер во мраке, в сиротстве — многое развеивал ветер на обшарпанной земле. Каждый, кто был в российских селах и лесах, знает тоску керосиновой лампы, — нация русских — лучшее — как керосиновый свет, и много лучин, и совсем бессветья: керосин мутен и чадит, когда выгорает, и коптит, когда горит сильнее, чем надо, — лучина всегда коптит, и ломит голову от лучины — от углекислоты, — а бессветье — ночи без света — Керосин никогда не яркое, красноватое, почти такое, при котором можно держать открытыми бромисто-серебряные негативы — —

— но у инженера Форста: электричество, во всех комнатах, в кабинете ковры, мягкие кресла, камин, в камине огонь. Свет горит во мрак фонарем. Завод в лесах, на горах, над Волгой. И в кабинете — у каминка в кресле, с трубкой в зу-

бах—Форст, за столом Архипов, и—маятником по коврам—Дмитрий Греков,—лейденской банкой. индуктируя Форста, Архипова, комнату, даже себя. Это — не так, как двадцать лет назад в России. Архипов — русский рабочий, Форст — обрусевший швед, Греков — русский дворянин. На Грекове — ситцевая рубаха и штаны коробом колен, как у опоенной лошади.

И Греков:

— Где, в какой еще стране, люди чувствуют так свою ненужность, как в России? — к двадцати годам каждый уже знает, что он никому не нужен, даже себе, — мир и человечество идет мимо него, он не нужен миру и человечеству, но ведь он — частица, он составляет человечество! Ведь англичанин, швед, француз, немец — он горд, он звено в цепи, он необходим, он соучастник той культуры, которую несет человечество. — Но нет, не так. Мы все сейчас думаем только о революции, только от революции. — Утверждаю, что Россия, страна неисторическая, была и есть уже много сотен лет. Россия растет — как дерево, ее путями. Человек двадцать девять дней в месяц работает и день пьянствует, в пьянстве — ему море по колено, — но трудится и создает свой быт, свое право на жизнь он в будни. У государства тоже есть свои будни и пьяные дни, — это революции. Пьянство родит будни,

будни родят пьянство. Россия пьянствовала пять лет, — прекрасные годы. Теперь она идет в будни. Надо сделать подсчет. Самое страшное — обыватель. Сейчас, что бы ни делало человечество, — две трети всего человечества должны быть заняты тупейшим делом землешаства, чтобы прокормить остальную треть, их труд убог, ибо он дает лишку только одну треть, — две трети человечества копают землю и вся плодородящая земля тратится, чтобы на ней росла рожь. И вот пришел человек ученый, гений, он вооружен всем, что дала культура, — и он изобретает, как механически, фабричным путем прокормить человечество, — картошку, хлеб и мясо, белки, углеводы и жиры будут делать на заводе, он построит маленький заводик, куда придут пролетарии — две трети человечества освободятся от крепости к земле, освободится две трети человеческого труда, человечество получит досуг, освобожденный труд пойдет в города, он будет строить, творить, создавать, он найдет себе путь: но освободятся еще квадрильоны десятин земли, на них возрастут леса, сады, — будет невиданная в мире революция, которая перестроит государство, мораль, труд, освободит, раскрепостит труд, создаст такое, что мы не можем представить. Освобожденный труд пророет каналы, высушит моря, сравняет горы, кинет весть

о себе на Марс. Это создадут — гений, культура и пролетарий. Но это не все. Половина человеческой жизни уходит на сон и отдых, — создадут химический завод, который будет производить порошки, и человечество освободится от сна, — и опять новый освобожденный труд. И это создадут культура и пролетарий. И еще: — человечество удваивает свою жизнь, человек будет жить двести лет. — Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей. Лошадь, корова и курица будут только в зверинцах, ибо их уничтожит машина. Это создаст — гений, культура и пролетарий. Россия первая кликнула клич пролетарию и пролетариям мира. Это — метафизика пролетария. Но есть другой закон. Богатство — это только то, что консолидировано трудом и машиной, труд, накопленный в реальные ценности. Наше золото в рудниках, наша руда под землей, нефть и каменный уголь в земле — не есть ценности. И нет страны более нищей, чем Россия, — такой я не знаю. Но без богатства не может быть культуры. — —

Дмитрий Павлович Греков — лейденской банкой. Дмитрий Павлович Греков — гражданин России — редко бредется, он трудится больше, чем следует, — и лицо у него в волосах белых, как лен, — очень немочно, как опоенные его ноги. Ярко горит электричество в кабинете у Форста, и когда прогорают поленья

в камине, Форст заботливо подкладывает их вновь. В кабинете — три мужчины. —

— А ночью, в полночь Дмитрий Греков идет лесом, во мраке, в дожде, в холоде, — в старой солдатской шинельке, рукав в рукав, всунув голову в воротник. Холодно. Нехорошо. Мрак. Шумит лес. Бродят по лесу волки. Скользят ноги в грязи. Тяжело итти. — В съезжившемся человеку — мысли — о человеческом гении, о новой земле, о новом человеке, о новой человеческой культуре. Но он русский — и культуры у него нет, и он идет не домой. Он пройдет лесом, в мокроте, по глубочайшим колеям, от которых трещат ноги. В лесу будут нехорошо кричать совы, — так он пройдет до лесной сторожки, и там в сторожке, на полу, на соломе его примет девка, дикая, грязная, тупая, безграмотная, страстная и обнаженная в страсти, как скотина. Мать-старуха с младшими детьми будет спать на печке. Поросенок выбьется из закуты и будет обнюхивать лежащих на соломе. — Дмитрий Греков прошел лес, прошел полем, спустился в овражек, к опушке, чтобы подняться вверх, где сторожка. Тут его повстречали двое, они шли, должно быть, своей дорогой. Они подошли к Грекову вплотную, вгляделись в лицо.

— А, сука, все по нашим девкам шляешься? — почти мирно сказал Андрей Колчанов.

Пронька, казалось, нехотя ударил Грекова по лицу дулом револьвера. Греков качнулся, сел на землю, потом тихо повалился навзничь. Колчанов и Пронька удивленно постояли, склонились над ним, Пронька потрогал Грекова, сказал удивленно и миролюбиво:

— Вот штука, кажись убил? А?

Так убили Дмитрия Павловича Грекова.

Ночь. Ветер.

Но в кабинете Форста все горит электричество. Архипов поехал по Волге — только отдохнуть, ибо в тот год портились не только стальные, но и человеческие машины. Тишина осенняя, как тысячи верст, над домом Форста. И перед рассветом перед отъездом, последний разговор:

— Что же — Россия? — спросил Архипов.

Форст ответил не сразу:

— В семнадцатом веке фактической границей Московского государства была Московская губерния, Помосковье, Поочье. Полагаю, и теперь так же. Дальше идет страна дикарей. На заводе — мне легче всего работать с коммунистами, — это единственное, что хочет смотреть в будущее и создавать. Но в России есть только две силы — обыватель и коммунист. Кто победит? — Ясно, если победит обыватель, — Россия

погибла. Но пришел нэп. Нэп не есть ни коммунист, ни обыватель: нэп есть реальный учет, нэп есть то, когда государство поняло, что ноги не могут расти из подмышек, как говорит Греков. Нэп есть будни, нэп победил романтику пролетария, оставив ее ласточкой — миру. Кто из двух сил — коммунист или обыватель — возьмет нэп? — Пока на нэп сел обыватель, негодяй. Россия по-прежнему безграмотна и голодает. Каков приход — таков и поп, — власть в России страшна. Но это — в вертикальном разрезе, в моментальной фотографии. Россия живет — ни настоящим, ни прошлым — Россия живет будущим. Стало-быть —

— Да?

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию. Все остальное — пустыки.

— Ну, а ты, Гуго Отгович?

— Я? Мне надо трудиться. Я делал все, что мог, для завода. Я останусь здесь, работать. С весны мы завод пустим. Сначала завод работал на нефти, потом мы пустили его на подмосковном угле, потом — на дровах, — теперь с весны он пойдет на торфу, — я применяю вращающиеся печи. — Ну, а вы, Архип Иванович?

— Я? — Архипов ответил не сразу. — Ты правильно сказал: — из подмышек ноги не выростут. Но — и правд очень много, для каждого

человека — своя, — из правд надо искать объективную правду. История — с нами, и власть у нас не цель, а средство. Власть — страшная сила. — Я? — я, кроме России, знаю еще — мир, пролетариев всех стран, попов и прислужников машины, как ты говоришь. Вон, Греков говорит, мы — второе. Что же, ляжем навозом ему первому. Для земного шара — человек: даже не вошь.

„И третий Китай-город. Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше — каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Не дымят трубы, молчат домна, молчат цеха — в цехах ржа и снег — —“

Весь мир на крови, — и что кровь машины? — и кто такой пролетарий? Надо пройти на завод, через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором. Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу, — но бог, стоящий в святилище, уходит из реальности в вещь в себе, в нереальность, в мистику. — Но человек поворачивает, рычаг, и весь завод вздрагивает и живет, визжат фрезеры и аяксы, скрипят зубила, плющат железо, как воздух, прессы

и молота — — в веках затерялись — звездочеты, волхвы, алхимики, астрологи, маги, — история человечества: на всегда в метафизике — —

Форст говорит:

— А знаете, Архипов, — я уже не могу без наркотика. Идемте. Спирт. —

— Мне не надо никаких наркотик, — отвечает Архипов. —

И идет рассвет. Ночь уходит. Рассвет идет серый и набухший, как парус на волжском дощанике. Волга пуста и холодна. Одинокая прокричала — в рассвете, в холоде — чайка. Серые волны бьют о борт немого парохода. Пароход стоит у конторки. И тогда с горы спускается автомобиль, черный и неуверенный на сером щебне, как жук-навозник, — и пароход оживает, шипит в воду белый пар, белый парок появляется у трубы, и пароход дерет свое нутро ревом, черные клубы дыма рвутся из трубы — в ветер, чтоб быть сейчас же разметанными. На конторке опять комиссары, капитан на мостике. — И тогда к Архипову от тюков в рогоже подходит поспешно женщина.

— Товарищ Архипов, — говорит она, — умоляю, мне надо сказать два слова — —

И в стороне она говорит поспешно:

— Я—Осколкова, жена местного врача. Я не могу больше, мне надо в Москву. Умоляю. Возьмите меня с собой. Пароходы больше не ходят — —

— Пожалуйста, — отвечает Архипов.

Пароход гудит вновь. Командует капитан.

— Отдай носовую-у! — Средний!

Пароход отворачивается от пристани, но не заворачивает уже, а идет наверх, к Нижнему, вон из поволжских пустынь. Шипит вода, пароход идет в плеск воды, в речной холод. Поволжье подлинное, на сотни верст вымороченные села, волости и веси, уставшие, изгоревшие в бурьянах, мертвых путях, — позади. — Осколкова на палубе, в ветре, на корме. Приходят и зовут ее в рубку, к чаю. — Поздно уже, осень. Налево — горы, направо — пустые луга, уходящие в муть, сливающиеся с небом. Пароход идет упорно. И утро упорно и серо, как набухший в ветре и мокрый от дождя серый парус волжского дощаника. — —

Назад. В Москву.

— В Москву — в Москву! —

## Глава последняя.

*Москва — —*

Две тысячи лет назад погибло в Палестине еврейское государство, — и две тысячи лет с тех пор умирал древний еврейский язык. — В Москве, в Белом Городе, в Киеловском переулке, что у Никитской — по-прежнему — и теперь — улицы Герцена, — возродился древний еврейский язык, возник, умерший даже в Палестине. Был пятый год русской революции, когда Россия переименовывалась в Союз Советских Республик Европы и Азии. В доме, где, быть может, танцевал Пушкин, возник театр, где на древнем еврейском языке ставили мистическую пьесу — „Гадибук“ — о духе дибук, о том, что — борух даян амет — благословен судья праведный, — и быт пьесы, которую играли на древнем языке, был взят из местечек Западного края, черт оседлости, откуда-то из Мирополя был цадик Азраэль. В комнате был сделан деревянный амфитеатр, и внизу в другом углу комнаты играли

актеры. Натан Альтман перевоплотился в Марка Шагала, но вспоминался и Гойя. Сцена открылась из мрака, под страшный древний мотив о том, — „отчего тянется душа от высот к безднам?“ — на сцене была синагога, и были только две краски — желтая и черная, — и рыдающая мать была в черном, как все матери, — и потом в синагоге плясали старики евреи. — Потом перед домом Марка Шагала плясали нищие из Гойи. — Потом заклинали девушку, целомудрие, девственность, потому что в нее вселилась мистическая сила — любви — к единственному, избранному, умершему, голосом которого она заговорила, который, как и она, мерил жизнь двумя измерениями — любовью и смертью. — И сцена закрылась во мраке, под мистический древний мотив, о том, — „отчего, отчего тянется душа от высот к безднам?“ — „борух даян амет“. — Древняя культура — на древнем языке, но быт — местечка за чертой оседлости, и купец Сендер, в картузе, похож на русского прасола из Рязька. Марк Шагал знает серую краску. — В комнате на амфитеатре — зрители — сидели евреи, еврейские девушки были прекрасны. Никто не аплодировал, потому что играли прекрасно и не надо шуметь там, где хорошо. Те и эти — одно, но костюм многое значит, и костюм местечка совсем не пиджак и манжеты, как на амфитеатре: тут не

было серой краски Марка Шагала. — — Есть обычай меняться на пасху, христосуясь во Христе, красными яйцами, символами солнца, — русские кустари делают игрушки детям: яйцо надето на яйцо, и так много раз, до малюсенького, до сердцевины. Как же снять скорлупу за скорлупой, чтобы найти ядро? — каждый по своему расположит эти яйца, надетые одно на другое. Еврейство шило красною нитью историю человечества — белой расы последних двух тысяч лет. Что же мистический народ и мистический дибук, где два измерения — любовь и смерть — первая скорлупа? или быт местечка в Западном Крае на древнем языке, скрепленный Марком Шагалом? или — третье — то, что купец Сендер похож на российского прасола, потому что купец, а синагогские служки на деньги, которые им оставила — на молитву за умирающего ребенка — рыдающая мать, — купили водки, — а нищие — страшным ожерельем калек на сцене — воют от счастья, когда в Лию вселился дибук? — Это ли сердцевина надетых друг на друга пасхальных яиц? — И не самое ли главное — единственное — то, что мать плакала об умирающем ребенке, как все матери, что Лия и Ханан любили любовною любовью, сильной, как смерть, как все любящие впервые, — что отец Сендер любил Лию отцовской любовью, сильной,

как род, как должно всем отцам, — не единственное ли — че-ло-век? — человечность, мистика че-ло-ве-ка? —

— Еврейский народ сшил человечество Евро-пы на две тысячи лет — религией и мистикой, — тринадцать чудаков из Галилеи. В католичестве, протестантизме, православии — в них, за ними, от них — затерялись звездочеты, астрологи, алхимики, каббалисты, маги, чернокнижники —

— Кто поймет оторванность от полей и цветов, и от пахаря, — кто почует сиротство свое перед бес-к р о в н о й стихией, им же воздвигнутой, и поборет волю в смерть перед Моло-хом - Маховиком — — ? — — Нет кро-ви! — —

В те годы невероятнейшие были в России Па-миры, спутались числа и сроки. Не было городов, весей и сел, где б не было восстаний, бунтов и войн. В те годы никто не умирал естественной старческой, постельной смертью, но смерть шла в расстрелах, в тифах, в увечьях, в голоде, в людоедстве, — люди умирали у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах. —

— В те годы в России родилось, прожило и умерло, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей: в России разучились читать

цифры, меряя все астрономически, — девять милли-онов пудов вшей, если б это была рожь, хватило б про-кормить нормой Наркомпрода в течение года город Саратов. В те годы родились так же, как умира-ли — в тифах, в увечьях, на шпалах, в теплушках. В те годы вся Россия вышла на шпалы в великом переселении правд, вер и народов, — поэтому в поспешности из паровозов делали аэропланы, пусть они не могут летать, пусть поездов и паровозов больше было под откосами, чем на шпалах. В те годы вся Россия была серой, как солдатская ши-нель. В те годы вся Россия была во внутренних пошлинах заградительных отрядов, продовольствен-ных карточек, прав на разъезды, чтоб голодать, — у каждого мужчины сохранились с тех пор жилеты, чтобы в них вместо ваты всыпать пшено, а у женщин — мешки на живот, чтоб имитировать му-кой беременность. —

— Те годы Союза Советских Республик Европы и Азии ушли заржавевшими заводами, разрушенными фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных, людоедством Поволжья, могилами без крестов и без памяти, — ушли полями, лесами, болотами, селами и весями — русскими, — паровозы не стали аэропланами. — И те годы были величайшей ро-



мантикой, величайшей радостью, величайшими правдой и верой! Ведь каждый, как реликвий, хранит тот жилет, в котором возил он пшено, — и вспоминая о днях отошедших: грустит. И аэропланы, из паровозов — все-таки — летали тогда! — —

Тогда же, в дни „Гадибука“ —

— был московский — арбатский — вечер, с первым октябрьским снежком, с тишиной к темных переулочках, когда каждый — первый, второй, десятый — кто был московским студентом, должен вспомнить о первом курсе и о муфте в снегу соседки курсистки (в революцию муфты у женщин в России исчезли, потому что женщины помужали), — в такой вечер каждый близорукий должен вспомнить о своей близорукости, ибо фонари на углах мажутся снежинками со стекол очков. Днем была — дневная Москва, — днем устраивалась зима, чтобы первой зимой прожить после революции: днем шел тихий — арбатский — снежок, морозило, и снег сразу укутал шум, до весенних первых рам. Вечером надо зажечь лампу у стола, и — книгами — уплыть в воспоминание, в осознание, в счеты с прошлым, — и в сумерки за окном трещали чечотки, прилетевшие со снегом с Воробьевых Гор и со Звенигорода. Но днем в лавках торговали — мясом,

вином, виноградом, икрой, как в Европе в тот год и как десять лет назад в этой же Москве, — по старому, — и приказчики говорили, убеждая покупателя: — „Помилуйте -с, старое-с!“ — и пол был посыпан опилками. Надо было подумать, что Россия с Памира сошла, о хлебе из овсяных опилок забыто, у Елисеева есть семга, французские сливы и французское шампанское, — а у зеркального окна — девушка, не проститутка, еще в башмаках до колен и в каракулевом пальто, она кончила гимназию, была на первом курсе, — молит, чтоб ее купили, потому что она сокращена. — В Москве было много одиночества, тоскливости, грусти. —

А к ночи в тот день снежок перестал, потеплело, с Москвы реки, от набережных, с низин пошел легкий туман, закурился, поплыл, стал под Кремлем, пополз Александровским садом на Воскресенскую площадь, к Охотному Ряду. Небо тоже было туманно, беззвездно, но, как всегда первые ночи в снегу, — светло. —

Тогда у подъезда театра, где шел „Гадибук“, прощались двое, два человека, национальности которых стерты. Один из них сел в автомобиль, и автомобиль его унес в туман, к Александровскому саду. Вокруг Кремля, на Красную площадь в тумане, к Спасским воротам, в Кремль. Тогда на

воротах — интернационалом — часы отбили полночь. — Этот был пролетарием. В Кремле, в офицерском корпусе у него была маленькая комнатка. Много лет он жил — рабочим — под Сормовом и в Чикаго, — и манеру жить он перенес сюда, в Кремль русских царей. Дома, у его жены были гости, на письменном столе, на скатерти стояли — тарелка с селедкой, колбаса, черный — по пайку — хлеб и горшок с пшенной кашей. Книги со стола сложили на окно. Потолки были сводчаты и оконницы в аршин толщиной. Было все очень просто. Говорили о пустяках, он рассказал содержание пьесы, о том, что ему понравилось. Потом стали устраиваться спать, — жена собрала со стола, вновь разложила на столе книги, очень тщательно. Гости остались ночевать. Было очень тесно, с кровати сняли наматрасник. Потушили свет и стали раздеваться, мужчины легли на полу на наматраснике и тулупе, женщины — на кровати и диване. Это было только просто и здорово.

На Спасских воротах — интернационалом, пролетарским гимном — часы проббили полночь. Над Москвой стал туман. Москва стихла. — Тогда у подъезда Габима распрощались двое, и второй переулками, туманом, мостами пошел в Замоскворечье. Он шел, не спеша. Его потянуло в Замоскворечье, потому что когда-то он был здесь

студентом Коммерческого института. Замоскворечье было безмолвно, пустынно, в тумане. Иногда вдруг чужая калитка играет в судьбе человеческой роль: он проходил по Ордынке, под липами, мимо случайной калитки, — из этой случайной калитки вышли на него двое, револьверы были приставлены к лицу.

— Молчать. Идем! — — —

На Спасских воротах часы отбили полночь. Над Москвой, над Московской губернией был туман. Но если, как гоголевскому чорту в ночь под Рождество, подняться над землей, то — над всей землей ночь, чуть-чуть брезжит на востоке, а туман только над Московской губернией. В том городе, в котором писал Бугров письмо к губернаторше, — нет тумана и не видно во мраке, есть ли даже человеческий хвост, комбинация, как сказано, небывалая. — А Канавино, под Нижним, лежит, как всегда зимами, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей, —

— лежит в снегу, в безмолвии, в заколоченных рядах, в тишине могильной, — в переулках нет человеческих тропинок, и есть лишь следы ворон, кошек и собак, —

— потому что ярмарка закрыта до нового года, и ее директора, красные купцы, уеха-

ли в Ирбит, чтобы оттуда проехать в Лион. — —  
По полям и лесам бродят волки. — —

Но проходят часы, и чорт видит, как за-  
рается восток.

Коломна,  
Никола-на-Посадях,  
междувременье старого  
и нового леточислений,  
Рождество 1922 и 1923 годов.

## СОДЕРЖАНИЕ:

	стр.
Волки . . . . .	7
Черный хлеб . . . . .	51

